

З В Е З Д Ы Д Е Т Е К Т И В А

ЯКУБ ЖУЛЬЧИК

ХОЛМ ПСОВ

A white dog is shown in profile, sitting on a large, dark rock and howling upwards. The scene is set in a forest with dark, silhouetted trees. The entire image is bathed in a strong red light, creating a dramatic and somewhat ominous atmosphere. Overlaid on the image is large, bold, yellow text. The text is arranged in two main lines: the author's name 'ЯКУБ ЖУЛЬЧИК' at the top, and the title 'ХОЛМ ПСОВ' in the center. The letters of the title are very large and partially overlap the dog and the background.

18+

Лауреат литературной премии Варшавы

Якуб Жульчик

Холм псов

Серия «Звезды детектива (АСТ)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66636570

Холм псов / Якуб Жульчик: АСТ; Москва; 2021

ISBN 978-5-17-121902-4

Аннотация

Писатель-неудачник Миколай Гловацкий возвращается из Варшавы в провинциальный город Зыборк. Когда-то он написал о своей малой родине роман, ставший настоящим бестселлером, но многое в нем преувеличил и исказил, изобразив Зыборк настоящим адом на земле. Впрочем, вдохновение и деньги быстро закончились, и Миколай едет домой, к отцу, которого ненавидит и боится, и в город, который искренне считает худшим местом на свете. И действительно в нем царит коррупция, властвуют криминальные авторитеты, а человеческая жизнь стоит немного. Поговаривают даже, что вся эта земля проклята. И теперь здесь стали бесследно исчезать лидеры местной общины. Когда одного из них находят в лесу, истощенного, обезумевшего, с кусками человеческой плоти, застрявшими в зубах, город охватывает паника. Никто еще не знает, что это только начало кошмара, и нити от него тянутся к зверскому убийству первой девушки Миколая, которое произошло много лет назад.

Содержание

Часть первая	6
Найденный	6
Миколай / Животное	15
Миколай / Задняя дверь	31
Юстина	54
Миколай / 2000 / Страна тысячи упреков	62
Миколай / Передняя дверь	80
Мальшняя	121
Юстина	129
Миколай	143
Юстина	194
Мальшняя 2	219
Часть вторая	224
Что видел Гизмо?	224
Миколай	241
Юстина	253
Миколай	265
Конец ознакомительного фрагмента.	269

Якуб Жулчык

Холм псов

И вот, новоприбывший из глубин Германии староста ужасался этим макабрическим пляскам: – Как вы могли танцевать, разве вам не мешало, что труп был в той же комнате? – спрашивал он во время объезда в одном из домов. – Ну дык мы-тко не сразу почали, – добродушно ответствовали мазуры. – Спервай-то мы его на попа поставили, штобы не слишком-то мешал.

Мельхиор Ванькович. На тронах Сментека

Отец наклонился вперед, но не упал. Когда Георг, против его ожидания, не подошел ближе, он опять выпрямился.

– Стой, где стоишь, ты мне не нужен! Думаешь, у тебя хватит сил сюда подойти и торчишь там потому, что тебе так угодно. Ошибаешься! Я все еще намного сильнее.

Франц Кафка. Приговор.¹

Серия «Звезды детектива»

Jakub Żulczyk
WZGÓRZE PSÓW

Published by arrangement with Authors' Syndicate Literary Agency, Poland

First published by Świat Książki, Warsaw, Poland, 2016

Перевод с польского: *Сергей Легеза*

Copyright © by Jakub Żulczyk, 2016–2021

© Сергей Легеза, перевод, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Часть первая

Сентябрь / От воздуха

Найденный

Вы, молодые, думаете, что всякий из вас – пуп вселенной. А что любая ваша проблема – мировая война. Что все крутится вокруг этих ваших проблем. Вы как заводные игрушки. Машинки с пружинкой. Те, что едут вперед сколько могут, но хватит и малой неровности на полу, крохотного бугорка, чтобы опрокинуться. И – конец игре. Всем покеда. И вот что я думаю: используйте вы для дела силы, что расходуете на всю эту хренотень, на эти беспокойства, на блянные первому встречному-поперечному о своих проблемах, на эти вопли – и тогда, возможно, вы что-то да создали бы, сумели бы, полагаю, что-то придумать. Не знаю что. Не спрашивайте. Но другое, не то, что есть. А что есть? Ну? Дерьмо. Одно и то же дерьмо сотни лет. Конечно, есть нынче всякие приблуды, сенсорные экраны, Интернет, истребители-невидимки и еще пара штуквин, которые вроде бы отличны, ну, не знаю, электронные всякие, но на самом-то деле вот уже несколько сотен лет – одно и то же дерьмо.

Ну что? Зачем спрашиваете: «что?» Я должен знать – что?

Что-то новое. Что-то совсем новое. Как новым было, ну, когда сперва – короли и императоры, они наследовали власть, а потом – раз, и уже никто эту власть не наследовал, но все выбирали того, кто правит, голосованием. Это было что-то новое, ну, не знаю, лучшее ли, но новое – точно.

(не помнит, кому он это сказал, наверное, своему сыну и его жене)

(да, теперь он вспоминает, сказал это своему сыну и его приятелю, и жена приятеля, кажется, там была тоже, было, кажется, лето, лето прошлого года, они сидели на веранде, а он пожарил серну, кажется – серну, темное мясо, под вином, он помнит, пили сливовицу, пили как водку, быстро, под апельсиновый сок, и это было ошибкой, потому-то он так разболтался)

Думаете, что ваши проблемы – пуп вселенной. Вам внушили, Марек, не смотри так на меня, не в смысле – вам, то есть не в смысле – тебе, ты как раз понимаешь.

(знает, что он говорил это сыну)

Вы как раз понимаете, но я о людях вашего возраста, о ваших ровесниках, двадцать пять лет, тридцать, тридцать пять лет, людей, сука, вашего возраста убедили, молодых лошаков, здоровых лосей, что они – свободные люди. И на этой свободе они строят свое безопасное будущее, напряженно, ежедневно. Больше того – уверены, что они хозяева этого будущего. Хрен там. Все эти люди вкалывают, как рабы. Погляди на них. Как рабы. Должны вкалывать и лет тридцать

платить, если они вообще эти тридцать лет проживут. Если у них сердце не разорвется за эти тридцать лет. И в этом хомуте они точь-в-точь как лошади, как скотина. Да меня тошнит, Марек. Не смотри так на меня. А они постоянно в проблемах, глотают их, как караси – червяков на крючках, не знаю, Марек, понимаешь ли, если что – могу объяснить.

Понимаешь. Хорошо, что понимаешь. Ты башковитый, сынок. Башка – словно склад какой. Вот только полки пустые. Ха-ха-ха. Ну, не смотри на меня так.

(знает, что Марек – это его единственный сын)

(знает, что Марек все еще там, откуда он сбежал, помнит, что не двигался и молчал)

Марек, сынок, если у тебя есть то, что важнее прочего, если уверен, что ради чего-то сделаешь все – тогда тебя легко использовать. Если хочешь денег, машин, баб, сынок, то тебя легко использовать, честно. Натянуть. Ты тогда словно карась. Думаешь, что борешься. Думаешь, что, может, если уж ты так борешься, то выиграешь. Но ты только бьешься и мечешься, и хватаешь ртом воздух, пока не подохнешь. В этом как раз – ничего нового. Это – старо как мир. Подумай о пирамидах. О тех несчастных пиздюках, которые их строили. Их убеждали, что за умелое строительство пирамид они станут вечность сидеть в чудесных борделях под пальмами. А вас убедили, что к старости эти клетушки из картона, что вы покупаете, клетушки с видом на паркинг, что они будут вашими, что вы уже напахались на них. Что банк их у вас не

спиздит. И даже что-то отдаст, когда, скажем, – представь, да? – когда весь этот картон, все эти халупы, эти паркинги и лифты, когда все это сгорит нахуй. Ну смейся, смейся, потому что, сука, смешно же. Нет, сынок, я из тебя придурка не делаю.

(едва видит и знает, что может уже ничего больше и не увидеть)

(какое-то время не может сообразить, встал ли он, ползет ли, в вертикали он, в горизонтали, и если отпустит мох, который так судорожно сжимает, то не упадет ли)

Еще раз: я не о вас говорю, но о ваших ровесниках.

И тут ничего нового.

А вы могли бы придумать что-то новое, если бы не тратили столько энергии почему зря.

(отпускает и ничего не случается, и никуда не падает)

(теперь он знает, что ползет)

(знает, что он – голый)

(знает также, что сейчас в лесу, на холодной земле, холодной и вонючей, а может, это он так воняет)

Я – хозяин. Смотрите.

(помнит, что тогда, год назад, на веранде, он специально встал, хотел показать им, что имеет в виду, когда говорит, что он – хозяин)

Я – хозяин. Смотрите. Это мое, это мне принадлежит, вырвал его, вырвал и выстроил, возвел, была пустошь – стал Сан-Франциско, Марек, гляди, понимаешь, ты тоже хозяин.

Нет, молчи, чего это я буду молчать, должен молчать в собственном доме, в моем, сука, саду? Марек, твоя мать и правда могла бы слегка попустить. Наливай, Марек. Гляди. Ты тоже хозяин. У тебя тоже есть свое.

(видит только свет, свет как прогорклое масло, матовое и тошнотворное)

(знает, что он не может сейчас встать, год назад – это год назад, а сейчас – это сейчас, пытается, но не встает и на сантиметр, а тело, на коленях и локтях, движется само, ползет вперед, словно запрограммированное, словно заводная машинка)

(знает, что человек – это автомат, как и все сущее)

Человек, у которого есть свое, по-другому ходит, по-другому движется, Марек. Гляди. Человек, у которого и правда есть свое, который не одолжил на тридцать, сука, лет клетушку в новострое из картона, но – имеет свое, человек этот не горбится. Ходит прямо. Плечи его расправлены, вот так. Глаза широко открыты. Подбородок, сука, вверх. И всегда вот так свысока. Погоди. Лей.

Марек, я рад, что ты так думаешь. Это все вас тут ждет. Этот дом, эта земля, все это для вас. Но я тебя не принуждаю, я тебя силой сюда тянуть не стану. Делайте, что хотите. Зарабатывайте, как хотите. Только внука мне сделайте. Пригодился бы.

(знает, что его тело – другое, чем месяц назад, чем два месяца назад, чем три)

(знает, что его тело худое и изломанное, все в засохшей крови, все в грязи, все в дерьме)

(знает, что вместо ногтей у него кровавые, воспаленные култышки)

(знает, что потерял большую часть зубов)

Лей, Марек. Погоди, схожу отолью. Ага, в сад. Ну и что? Это мое. Мой сад. Могу тут, в нем, извиняюсь, хоть высрать-ся. Могу тут делать, что захочу. А если чего делать не хочу, то не делаю.

Что, заканчивать с этим умничаньем? Марек, Маречек, а кто ж тебе умное-то расскажет? Кто? Эти морды в телевизоре да в Интернете? Они в этой Варшаве всю жизнь в такси проводят. Что там они знают?

(помнит, что тогда, год назад, на веранде, перестал на миг говорить и встал, пошел к забору, укрылся между живой изгородью и сеткой и, отливая, радовался своей струе, высокой и мощной, все еще как у пацана, подумал, что это хорошо, как же хорошо быть здоровым, думал об этом, а они ждали на веранде, о чем-то тихо говорили, не слышал их)

(теперь знает, что ему нужен доктор)

(чувствует, что становится все холоднее, но чувство холода пока спрятано глубоко под болью)

(единственное, что он может сделать, это тихо пиццать, поэтому тихо пицтит)

Уже я здесь. Уже вернулся. Марек, правда, сынок, ты не думай. Дай морду. Ну, дай. Я тебя ух как люблю!

Что значит: тихо? Это мой дом, Марек, скажи своей матери, что это мой дом, и если хочу орать, то ору.

Марек, лей. Лей, сынок.

(пришлось напомнить себе: то, что он чувствует, зовется «боль»)

(знает, что он ползет по лесу)

(знает, что раньше был под землей, в темноте, долго, а теперь вылез и ползет по лесу)

(все должно было случиться недавно)

(какое время года)

(знает, что все – боль над всеми болями, которых он уже не различает, не отличает боль нижней части тела, живота, бедер и хера от боли шкуры, кусками содранной со спины)

(от боли ног, которые были сломаны, а потом снова срослись)

(от боли сломанной челюсти, крошащихся зубов, он грыз кость, помнит, хотел перегрызть кость или камень, не помнит)

(от боли в глазах, которые провели столько времени в темноте, столько времени, не видя совершенно ничего)

Я, сынок, тут родился. Тут я родился, и тут я умру. Твой прадед сказал точно так же твоему деду, когда их сюда бросили после войны, сказал, что нас сюда привезли, приказали нам сюда приехать, но теперь мы уже здесь, теперь мы – здешние.

(не знает, кто с ним это сделал, кто сделал это с его сыном)

(никогда не узнает)

Это мы. Этот город – это мы. Этот лес, сука, – это мы. Озеро, одно, другое, третье, эти озера – это мы. Не заткнусь.

Не заткнусь, ты сейчас сама заткнешься. Твоя мать, господи Иисусе, правда, нужно с ней что-то делать, сынок, у нее аж жопа свербит, если она чего-то не выгнет по-своему.

(никогда не узнает, мир и земля болят, он перестает двигаться, нет у него сил, теперь ползет)

(ползет и воет)

(никогда не чувствовал себя так хорошо, как в то лето)

(теперь он знает, что хотел бы напиться воды)

(может только выть, тихо, нет сил – громче)

(должен еще минутку, еще немного)

(может еще напиться воды)

Марек, люблю тебя, сынок. Я счастлив. Это счастье делает меня хозяином. Смотри, погляди вокруг. Моя жизнь – удалась. Нет у меня проблем. А даже если есть, то они – не важны, они – не весь мир. Это приходит с возрастом, это чувство. Есть у меня кое-что, и это хотели бы иметь множество людей, есть у меня кое-что, есть сила, есть сын, есть дом, есть земля, Марек, есть сила, сука, и почти все хотели бы это иметь, сразу, ни за что, за так, на выплаты, на кредит, и потому дают себя поймать.

Наливай, Марек. Такого никто не дает на выплаты. Это все нужно себе построить. Вот этими руками.

Ну, все, сынок, не кривись. Я люблю тебя, сынок.

(останавливается, уже нет сил, он не видит света, лежит на земле, в лесу, между деревьями, и последнее, что чувствует, это то, как земля его съедает, и он слышит некий звук, где-то сзади, бурчание, глухое, словно ветер в длинной трубе, может, это приближается машина, а может, просто так звучит близкая смерть)

(пожалуй, это машина, думает он, но все гаснет)

Миколай / Животное

Я уперся выехать с самого утра, до рассвета. Португальцы собирались заселяться только через неделю, но тянуть смысла не было. Любая проведенная здесь минута грозила чем-то диким и чрезмерным. Все, что у нас было, уже стояло упакованным, снесенным в подвал, вывезенным к родителям Юстины, затолканным в машину. Ночь мы провели на голом матрасе, укрывшись бурым одеялом с котами: вытащили его со дна шкафа. Я не мог спать, у меня было сухо во рту, я то и дело вставал, чтобы отлить. Похоже, от одеяла у меня началась аллергия.

– Я тебе кое-что обещал, и сдержу обещание, – сказал я Юстине. Единственная фраза, которую я сказал ей за всю ночь.

Я собирался выехать до рассвета еще и потому, что хотел увидеть, как над Млочинами разливается кровавое зарево – розовое, фиолетовое и красное, будто отблеск остановленного во времени взрыва; я хотел на миг представить себе, что эта жизнь – Эта Конкретная Жизнь – заканчивается для всех, не только для нас. Хотел хоть чем-то утешиться.

Все фантазии об апокалипсисе возникают из-за того, что человек не желает оставаться со смертью один на один. Он желает встретиться с ней вместе, в группе, эпично, как на концерте, на большом музыкальном фестивале.

А вообще всем было бы веселее, если б в конце света пел Боно. Нынче мало кто любит U2, но все, несомненно, расчувствуются, особенно на песне, которая вроде бы о Валенсе². Потому, начини Боно петь, все бы расчувствовались, а потом подошли.

Но на самом деле единственное, что можно сделать, так это забыть. Фантазии – это преступление. Я и забываю. Голый матрас, сухой воздух, белые стены – это уже не дом.

Рассвет живописно взорвался над коробками, сумками, рюкзаками и сетками, которые занимали все заднее сидение машины.

На дороге не было никого.

– Мне нужен кофе, – сказала Юстина, и это ее первая фраза с того момента, как мы выехали из Варшавы.

– Что, вот такой? – перед нами был съезд на заправочную станцию.

– Сходи туда, – сказала она.

– Это не кофе, это вода с дерьмом и грибами, – напомнил я ей.

– Сходи, – повторила она.

Худой парень на заправке – лет, может, двадцати пяти, сжатые губы и вытарашенные глаза. Я представил себе, как он перегибается через стол и говорит мне шепотом:

– Они все видят из задней комнаты, уезжайте сейчас,

² Речь о песне британской группы U2 «New Years Day», выпущенной в канун Нового года в 1983 г., когда в Польше отменили военное положение.

немедленно, пока не поздно.

Но он ничего такого не сказал. Я заплатил за бензин, заказал два больших черных кофе, две запеканки, взял еще пачку сигарет и жевательную резинку. Ожидая, пока терминал соединится с моим банком, я смотрел на обложку уцененного DVD на стойке. На ней Рассел Кроу в роли Ноя глядел на близящийся библейский потоп. Его склоненная голова, наморщенный лоб указывали на то, что он, конечно, весь на нервах, но уже готов расхреначить приближающийся апокалипсис.

Я завидовал Расселу Кроу. Я в жизни никогда ни к чему не был готов.

Когда парень с вытаращенными глазами вдруг спросил, собираю ли я фишки, его голос был как пощечина. Какое-то мгновение я просто не знал, что ему ответить.

– Нет, мы ничего не собираем, – выручила меня Юстина.

Мы вышли наружу. Было холодно, но этот холод мне нравился, я снял пуловер, стоял в одной рубашке, чувствовал, как воздух пощипывает меня за руки. Юстина ладонями держала кофе и дула на него так сильно, словно желала таким образом изменить его вкус.

Я не знал, что ей сказать. Без макияжа, с красной сыпью на щеках она выглядела больной. Волосы собрала в кок, тот напоминал картофелину. Может, она и была больна – просто не говорила об этом.

– Там очень красивые озера, – вспоминал я. Я уже говорил

это ей несколько раз. Всякий раз ошибочно полагал, что озера – это то, что нравится абсолютно всем, как, скажем, море.

– Терпеть не могу озер. Это уже случилось раз пятнадцать. Ситуация, в которой ты говоришь: «очень красивые озера», я отвечаю: «терпеть не могу озер», – сказала она, прихлебывая кофе.

– Ты ненавидишь природу и втайне мечтаешь о большой экологической катастрофе, – ответил я.

Юстина ненавидела ходить в лес. Боялась делать это даже днем. Никогда не спала в палатке. В отпуск всегда выезжала из Варшавы в другие города, лучше всего – в те, что побольше.

– Я их боюсь. Боюсь твоего отца и твоего брата, – отозвалась она через миг.

– Это уже случилось раз пятнадцать. Эта ситуация, в которой я отвечаю: «нечего бояться», – сказал я, а она фыркнула, не улыбаясь.

Она все воспринимала как крупный проигрыш. Я не мог понять – почему, ведь на самом деле она никому ничего не должна была доказывать. Ее мать даже обрадовалась, что мы выбираемся в Мазуры. Думала, мы станем жить в каком-то климатическом санатории над Снярдвами³ и организовывать там уик-энды с йогой или разводить лаванду.

На миг мне стало жаль Юстину, я хотел сказать что-то вроде: вернемся, попытаемся, отзовем все, разорвем договор

³ Одно из самых больших озер в Польше.

со съемщиками квартиры, но я знал, что пути назад уже нет, что вода поднялась слишком высоко.

Чтобы сразу прояснить: я тоже этого не хотел. Не хотел так сильно, что от одной мысли о таком у меня ныли все зубы.

– Поехали уже, – заявила она. – Нет смысла тут стоять.

Я постоянно совершаю одну и ту же ошибку – хочу, чтобы все было нормально. Сразу, сейчас, немедленно. Когда что-то портится, я сразу же хочу все исправить. Отбрасываю мысль, что ремонт – это длинный, поглощающий массу времени процесс. Совершаю отчаянные и резкие движения. В результате то, что уже испорчено, расхреначивается окончательно.

Чаще всего – самочувствие Юстины.

– Все будет хорошо. Правда. Сначала плохо, а потом – хорошо. Это естественно, – говоря так, я резко выдохнул. Положил руку ей на колено. Она так резко его отдернула, что на миг я потерял контроль над машиной.

– Просто поехали, – повторила Юстина.

– Это еще не самое ужасное несчастье, какое может случиться, – напомнил я ей, потому что это и правда не было самым ужасным несчастьем, какое могло бы случиться. У нас, например, мог быть смертельно больной ребенок. У нас могло быть на сотни тысяч долга. Мы и сами могли быть смертельно больны.

А так – у нас всего лишь нет денег на жизнь. Случает-

ся. Ничего страшного. Нет смысла от этого умирать, просто нужно не расслабляться.

– Мы уже говорили об этом... – она хотела напомнить, сколько раз мы об этом говорили.

– Но до тебя никак не доходит, – прервал я.

– Давай вести себя достойно, Миколай, – сказала она тихо и безо всяких эмоций; я прекрасно знал этот ее тон, она говорит так, когда стоит за миг до взрыва и пытается оставаться сапером для самой себя.

– Как только я организую какие-то деньги, – всякий раз, когда я такое говорил, на миг и правда себе верил, – как только организую какие-то деньги, мы вернемся в Варшаву, найдем квартиру, наша пусть сама себя содержит, может там жить кто угодно, студенты, китайцы, кто угодно. Потом – просто покрасим или как-то так. Все устаканится. Напишу книгу – и все устаканится.

– И как же ты организуешь эти деньги, Миколай? – спросила она, а я не ответил.

Началось – когда это началось? Тот день, когда она вернулась с работы раньше, чем обычно, хотя приволакивала, когда вошла в квартиру, ноги, словно старушка. Мне кажется, тот день был очень давно, раньше нашей свадьбы, раньше всего остального. Раньше, чем день, когда я впервые увидел ее грудь и при виде ее заревел от счастья.

У моей жены прекрасная грудь. Когда я увидел ее грудь, то спросил Юстину, выйдет ли она за меня. Всякий бы так

сделал.

Наверняка и он так сделал. Наверняка тоже расплакался при виде ее груди. Нет, не думай об этом, стоп, вернись, не думай, смени пленку, смени пленку. Не думай об этом, не то еще кого-нибудь убьешь.

Вернемся к нашей свадьбе. Свадьба была под Люблином, в огромном павильоне, который принадлежал дядьке Юстины. Мы пригласили всю семью и всех друзей. Всюду было полно желтых шариков. Мы велели музыкантам играть песни The Cure. Чувак забыл текст, на припеве, вместо того, чтобы петь Friday, I'm In Love, пел «ла-ла-ла-ла-ла-ла». Я помню, у нее в волосы был вплетен большой красный цветок, а дядька ее, вместо того чтобы закусывать, нюхал хлеб.

Я женился на ней, а через два года, то есть месяц назад, случился тот день, когда она вернулась с работы раньше, приволакивая ноги, словно старушка. Вошла в зал и сразу уселась на диване. Я подумал, что у нее нашли какую-то смертельную болезнь, так бледно и плохо она выглядела.

– Говорят, что закрывают репортерское приложение, что дело не только во мне, что Томек тоже вылетает, и Беата, разрывают контракт со всеми, – сказала она тогда и добавила: – Нам не с чего платить кредит.

Я помню, что под впечатлением от всего принялся бредить, словно лунатик.

– Ну, зато... зато мы взяли не во франках, взяли в злотых, – сказал я, наверное, потому, что подсознательно был

убежден: проблемы бывают только у тех, кто брал во франках. Те, кто брал в злотых, – умные люди, и с ними никогда ничего не случится.

– Ну и что с того? У нас нет ни франков, ни злотых, – сказала Юстина.

– На шоссе какое-то животное, сука, тормози! – крикнула она сейчас.

На шоссе лежала молодая мертвая серна. Занимала почти всю правую полосу. Я заметил ее в последний момент. На проезжей части кроме нас никого не было.

– А деньги за биографию этой, как ее там, Сосницкой? Ведь там обещали кучу деньжищ, – поинтересовалась она тогда, и я хорошо помнил, что последнюю фразу: «ведь там обещали кучу деньжищ» она повторила дважды.

– Марыли Родович, – поправил я. – Это было интервью с Марылей Родович ⁴.

Я включил аварийку. Мы вышли из машины. Молочно-розовое небо напоминало сбитень, сметану с каплей крови. Серна оказалась небольшой, мех ее был цвета кофе с молоком. Наверное, ее ударила большая машина, уехавшая после столкновения: сразу сломала хребет и раздавила внутренности. Водитель сбежал, наверняка был пьян.

– Да, мне заплатили, – сказал я тогда, отставляя стакан и

⁴ З. Сосницкая и М. Родович – обе польские певицы; первая, однако, певица джазовая, вторая – эстрадная; для Польши разница между ними – примерно как между Л. Долиной и А. Пугачевой соответственно.

кладя тряпку на стол.

– И что ты сделал с деньгами? – хотела она знать. – Ты должен был заплатить три взноса вперед.

– Но ведь у нас была страховка кредита. Нам дали ее в банке. Страховка как раз на случай утраты работы, – мой мозг подсовывал мне бритвы, за которые я мог ухватиться.

– Ты, сука, думаешь, что я туда не позвонила и не узнала, что эта страховка ни хрена не стоит? – спросила она; голос ее звучал так, словно она вдруг стала одержима.

Проблема в том, что я – «сбитый летчик». Никто уже не верил, что после «Черной холодной воды» я напишу еще книгу. Ведь прошло пятнадцать лет. За это время я успел взять авансы во всех существовавших издательствах – и, естественно, проел их, не отдав взамен и страницы текста. Мой агент, который опекал меня в неясном, не до конца понятном порыве милосердия, пытался обеспечить своего клиента хотя бы мелочишкой. Получалось у него так себе, поскольку все знали, что я ничего не делаю, что я вор и что посылаю всех нахер. В конце концов ему удалось организовать анонимную «редакцию» интервью с Марылей Родович. По факту, мне пришлось наново переписать добрую его половину. Деньги, если честно, были мелочовкой как за такую работу, но мой агент объяснил, что при таких обстоятельствах мне стоило поверить в Бога и быть ему крепко благодарным.

Каким-то чудом мне удалось это закончить, причем в срок. Но через пять минут после того, как я получил пере-

вод, позвонил Макс, сказал, чтобы я отдал деньги, которые брал у него в отпуске, в Дембках ⁵. Ну да, дурное дело, мы поехали в отпуск без бабла. То, что я одолжил у Макса, растравили сразу, часть – на MDMA ⁶, поскольку Юстине стукнуло тридцать три и она очень хотела по этому поводу закинуться на пляже; еще часть – на такси в больницу в Вейхерово. Юстина, вставившись, споткнулась и сломала ногу, а «скорая» отказалась приезжать.

Когда я закончил говорить с Максом, позвонили Павел, Гжесь, Ярек, дама из банка, представившаяся оператором моих кредитных карт: сразу после выплат их аннулировали, потом дама из налоговой и Юлька, у которой я купил диван в зал – как раз тот, на котором сидела Юстина, рассказывая мне, что ее выперли с работы, но Юльке я не заплатил. Ей уже не хватило.

– В следующий раз, Юлька, извини, – сказал я ей по телефону.

– Ёбаный ты хуесос, – ответила Юлька.

– О боже, она жива! – крикнула Юстина, отпрыгивая от серны.

И точно. Серна легонько двигала копытами, словно бежала сквозь сон в замедленном темпе. Быстро моргала устремленным в небо глазом; моргание это было самым резким

⁵ Курортное село в Поморье, в семидесяти километрах от Гданьска, известная зона отдыха в Польше.

⁶ Метилендиоксиметамфетамин, более известный как «экстази».

движением ее тела. Она словно увидела что-то в небе – то, что пыталась теперь поймать веками; то, что могло бы удерживать ее на поверхности, притянуть к жизни. Кровь сочилась с морды и ноздрей, разливаясь вокруг головы черным ореолом. Серна дрожала. Внутренности ее наверняка всмятку, но сердце и мозг еще продолжали работать.

– Почему ты врал, Миколай? – спросила Юстина, когда я рассказал ей обо всех своих долгах.

– Я не врал, просто ничего не говорил. Ничего не сказать – это не ложь, – ответил я, разводя руками.

Она молчала.

– Я такого не ожидал. Не ожидал, что тебя вышибут, – продолжал я говорить, как обычно разводя руками, словно ребенок.

– Я, сука, работала в газете, Миколай, газеты закрываются, газеты – они как телеграфы! – она встала в дивана, чтобы проорать все это, потом села снова.

Так уж случилось, что мы взяли совместный кредит. Потому-то, кстати, у нас и не было денег в Дембках. Потому-то я и звонил Павлу, Гжесю, Яреку, а потом они звонили мне. Восемьдесят квадратов на Охоте ⁷. Бело, светло и просторно. Три комнаты и кухня.

Ясно, зачем это делается и зачем это сделали мы, хотя жизнь наша из-за этого стала одной большой зыбкостью,

⁷ Престижный район в левобережной Варшаве, граничащий с историческим центром города.

ежемесячным напоминанием о выплатах, минимумом сумм на кредитных карточках. Есть всего несколько сценариев взросления. Всякий из них мы выбираем наперекор интуиции, наперекор собственным страхам. В конце концов, так делают все. Альтернативы тут нет. Есть только сказочки. Историйки о людях, которые выехали куда-нибудь в Новую Зеландию, сделали барменами, и теперь – счастливы, и пишут об этом в профиле на Фейсбуке. Люди, открывшие альтернативное экокафе: теперь не могут сосчитать стопки своих экоденог. Такую ересь придумывают редакции интернет-порталов, чтобы люди верили в альтернативу, чтобы оставалась надежда, чтобы они не шагали из окон, не въезжали в деревья на полной скорости.

Бывают моменты, когда хочется, чтобы все – всерьез, когда хочется, чтобы ситуация, в которой ты оказался, к чему-то вела. Хочется обладать хотя бы иллюзией контроля; чувствовать, что сжатые кулаки чем-то наполнены – пусть бы и просто гравием.

У меня не могло быть претензий ни к кому, кроме самого себя. Я привык: сколько себя помню, претензий к самому себе у меня хватает.

С другими бывало и хуже. Один из наших друзей после того, как курс прыгнул, остался с восьмью ежемесячно. Через пару месяцев ему не продлили договор. Порезал себя поперек запястий, как и всякий, кто видел такое в кино. В конце концов оказался в психушке. Когда я его проведывал, он

был даже доволен, постоянно играл в «тысячу» с беззубым мужиком, который вроде убил свою жену «ложечкой» для обуви, – а еще с женщиной, которая говорила только на эсперанто. Он все время проигрывал, но был в восторге, что наконец-то может отдохнуть.

– Миколай, сделай что-нибудь, она еще жива, – снова отозвалась Юстина, уже тише.

Я наклонился над животным. Протянул к серне руку.

– Не прикасайся к ней, – сказала Юстина.

Серна страдала. По крайней мере, я думал, что она ужасно страдает, хотя, вероятно, у нее был перебит хребет и она уже не чувствовала ничего, кроме своего погружения в теплую тьму. Мой отец добил бы ее и бросил в багажник. Когда приедем и я ему об этом расскажу – если вообще это сделаю, – он будет недоволен, что его сын не сумел добить серну, привезти ее домой и разделать.

– Сделай что-нибудь, – просила Юстина. Я был уверен, что она не имеет в виду, чтобы я добил животное и бросил его в багажник машины; что, скорее, подразумевает что-то вроде звонка в больницу или в полицию.

– Могу лишь оставить ее, – ответил я и отступил к машине.

– Ничего с ней не сделаешь? Ничего? Она должна так вот лежать?! – крикнула она.

– Могу взять монтировку и убить ее, – предложил я тихо и спокойно.

– Что? – спросила она.

– Могу взять монтировку и убить ее, Юстина, это единственное, что я могу сделать, – повторил я.

– Ты можешь позвонить в полицию, можешь...

– Я хочу поехать дальше. Просто поехать дальше, – ответил я и открыл двери.

– В этом, сука, нет смысла, – вскинулась Юстина и заплакала, стоя на дороге.

– В этом есть смысл. Садись в машину. Есть смысл, – ответил я.

Небо становилось светло-синим. Кроваво-розовый оттенок уходил, отступал, растворялся. Конец света не наступил. Варшава осталась позади. В ней звенели первые будильники. Серна вздрогнула, словно сквозь ее тело пустили ток.

– В этом нет смысла, – повторила Юстина. – Это идиотизм.

– Мы можем поехать назад в Варшаву. Можем все переиграть, – сказал я. – Но я не знаю, как дальше. А так у нас, по крайней мере, есть план.

– Есть план? – спросила она. – У нас есть какой-то план?

– Мы говорили об этом десятки раз, – сказал я.

– И какой у нас план? – спросила Юстина. – Скажи мне, какой у нас план.

– У отца пересидим худшее время. Кредит оплачивается. Через два-три месяца, едва только я что-то организую, возвращаемся в Варшаву. Обещаю, – фразы эти были настолько

истертыми, что оставляли во рту привкус старой тряпки.

– Обещаешь. Ты обещаешь это себе, Миколай, – сказала она.

– Нужно было оставаться. Нужно было...

– Да хватит уже, сука, мне об этом напоминать, – рявкнула она, прерывая.

В этом не было смысла. Я, она и серна – в одинаковой ситуации. Мы дергали ногами, лежа на шоссе, сбитые машиной. Пытались спастись, отчаянно моргая глазами.

Я обошел машину. Открыл ей дверь. Она села внутрь.

– Я обещаю тебе, что через два, три месяца мы снова окажемся в Варшаве, – сказал я.

Тронулся с места.

– Мы ничего не можем сделать, – сказала Юстина.

– Мы именно что – делаем. Таков наш план, Юстина, – сказал я.

Включил радио. Ведущий раздавал скидки на покупки слушателям, которые угадают, как звали зловещего противника Ганса Клосса⁸. Я хотел, чтобы кто-нибудь что-нибудь говорил и хоть что-то кроме нас самих наполняло внутренности машины.

Возможно, серна уже подохла; как раз перестала двигаться. Я медленно объехал ее, а когда она исчезла в зеркале зад-

⁸ Герой романа и сериала (позже – и серии комиксов) «Ставка больше, чем жизнь» польского писателя А. Збыха; польский разведчик, воюющий на стороне Советского Союза против Германии в годы Второй мировой войны.

него вида, добавил газу – сильно.

– Да, делаем, – сказала Юстина. – Проигрываем.

Началась песня, вокалистка пела о своем парне: чтоб остался сильным мужчиной; все равно как бить невинного человека по голове чем-то тяжелым и резиновым.

– Хоть что-то, – ответил я.

Миколай / Задняя дверь

На Шматах всегда сперва слышно собак.

Начинает одна, сразу подхватывает другая, третья, а через несколько секунд лают уже все. Лай разлетается по всему району, словно нынче начинается революция собак против всего известного им мира; против заборов, против цепей, против неба и домов. Но, может, они не протестуют, а просто здороваются друг с другом, не помня, что сделали это миг назад и сделают в миг следующий. Собаки не умеют считать, и у них не слишком хорошая память, а потому они кричат и поют небу и друг другу, пока только им известный знак или общее, телепатически принятое решение не обрежет этот шум – резко, в полсекунды.

Всякий раз, когда я тут оказываюсь, они сразу вспоминают друг о друге. Всякий, кто живет на Шматах, имеет как минимум одну собаку. Люблю собак, но порой понимаю людей, которые их травят.

Зато Юстина собак не любит. Не любит собак точно так же, как не любит природу. Иной раз я мысленно составляю список наших общих интересов. Подсчитываю, сколько их на самом деле. Мясо. Вино. Ну, предположим – вино. Я люблю водку, но пусть будет вино. Еще недавно – сигареты, но я бросил.

Ну и секс. Еще недавно. До того момента, когда я узнал,

что Юстина...

Стоп, музыка. Проигрыш назад. Собаки мерзкие, вонючие, а еще они – глупые, это коты умные, говорит Юстина. Я же, в свою очередь, котов ненавижу. И такого вот между нами – масса. Коты – идиоты, обманки в симпатичной оправе. Ее (наш) кот пару месяцев назад выскочил в окно пятого этажа. Юстина говорит, у него была депрессия. Депрессия и нервный срыв. Я же уверен, что кто-то в доме напротив зажег и погасил свет, а кот хотел его поймать. Падая на голый бетон, сломал кости в сорока местах. Когда ветеринар объявил нам, что усыпил его, Юстина кинулась на него, хотела ударить. Пришлось ее крепко придержать.

– Тут до сих пор нет асфальта, – замечает Юстина.

– Не понимаю, – некоторое время я и правда ее не понимаю.

– Ты говорил, что район назывался Шматы, пока тут не было асфальта, и его все еще нету. На этой улице, – некоторое время она смотрит на меня, будто я превратился в кого-то совершенно другого.

– Эта улица называется Известковая, – сообщаю ей.

Останавливаю машину под домом своего отца. На фоне неба, серого, словно стальная отливка, все – дома, деревья, ограды – сливаются в один плоский, лишенный контраста пейзаж. Единственное, что выбивается из этой серости, это первые желтые и красные листья, разноцветный мусор, бутылки и пакеты от чипсов, рассыпанные под деревьями бес-

порядочными кучками.

Я смотрю на соседние дома, пытаюсь уловить хоть что-то, какое-то присутствие, след движения в окне, что-нибудь. К каждому дому в моей голове приписана фамилия. Малиновские, Рудзяки. Старший Рудзяк был моим приятелем, пока не стал скинхедом. Но прежде чем он стал скинхедом, я ходил к нему играть на «амиге». Фалатовичи. Ниские. Гумерские. Новаки. Гумерские, кажется, выехали. Или часть Гумерских выехала, а часть умерла. Не помню. Когда-то один из Гумерских бросал камнями в Янса, а потому мы вместе с Гжесем и другими парнями затащили его в лес и привязали к дереву. Когда пришли за ним через несколько часов, все штаны у него были обоссаны.

– Тут квадрат дорог, и на обеих перпендикулярных и на одной параллельной есть асфальт, а здесь нету, – Юстина обвела рукой пространство, по которому мы двигались.

Концерт собак все еще продолжается. Пес моего отца участвовал в нем довольно вяло. Мой пес, которого звали Янс, давно умер. Мы с братом похоронили его на возвышенности в лесу, которую потом назвали Холмом Псов. Но Холм Псов, где мы похоронили не только Янса, поскольку тот стал кладбищем для собак со всей околицы, это совершенно другая история.

Янс был героем комикса, блондином, который неудачно переносился во времени и сталкивался из-за этого с разными, не слишком приятными перипетиями, но в результате

этих перипетий познакомился с некоей Орхидеей, темнокожей девушкой с короткими волосами и синим кольцом посреди лба.⁹ Я влюбился в нее, когда был маленьким – настолько, насколько можно влюбиться в нарисованного героя. Юстина, когда я с ней познакомился, выглядела в точности как она. Только у нее не было синего кольца посреди лба.

Возвращаясь – на Известковой и правда все еще нет асфальта. Главная улица, Каменная (в полукилометре дальше она превращается в дорогу, которая, если ехать достаточно долго, доведет в конце концов до Остроленки¹⁰), была заасфальтирована всегда. От Каменной к параллельной Известковой вели две боковые улочки, Угольная и Цементная, обе покрытые асфальтом, хотя семнадцать лет назад, когда я тут жил, покрывала их лишь смесь грязи, песка и шлака.

Другие улицы на Шматах тоже носят названия по материалам и ископаемым. Песочная. Мраморная. Кирпичная. Стекланная. Все, кроме Известковой, со временем заасфальтировали.

– Уверен, что они делают это ему назло, – говорю я ей.

– Наверняка. Твой отец – один против всего мира, – она зевает и отворачивается к замурованному коробками задне-

⁹ Имеется в виду бельгийский комикс Hans (1983–2000), чье действие происходит в постапокалиптическом мире; в польском варианте комикс был переименован, поскольку «Ганс» устойчиво ассоциировался со сленговым названием немцев времен Второй мировой.

¹⁰ Административный центр, столица остроленского повета над рекой Нарев, притоком Вислы.

му сиденью, откуда видна та сторона Известковой, что заканчивается рельсами. Идя вдоль путей примерно полкилометра, доберешься до вокзала. На другом конце улицы, метрах в четырехстах за нашей спиной, начинается лес.

Дом моего отца выглядел как резкое, рубленое, слегка удивленное лицо, сложенное из огромных пикселей. Широкий трехэтажный параллелепипед с дверьми и небольшими окнами, напоминающими глаза, увенчанный острой, треугольной крышей. Окруженный забором из сварных металлических прутьев, много лет назад выкрашенных в бурый цвет. Из-под облупившейся краски проступал ржавый металл. Слева от дома – въезд в гараж, перед которым стоят бочки, полиэтиленовые мешки, пластиковые ведра. Некошеную траву покрывает кремовый слой стружки и деревянной трухи. Под домом лежит электропила и небольшая куча дров на растопку.

Дом рядом – моего брата, Гжеся. Меньший, покрашенный серым двухэтажный кубик, не отделенный от отцовского никакой оградой. У дома стоит запаркованная машина, грязный темно-зеленый «гольф». Не знаю, его ли это машина. Скорее всего – да. Он часто их меняет. Утверждает, что только дешевые, битые машины имеют смысл. Они должны ездить; он только пожимает плечами, когда кто-то над ним потешается.

– Я их боюсь, – тихо, словно сама себе, говорит Юстина. Говорит, что боится, но смотрит дому моего отца прямо

в глаза. Не отводит взгляда.

– Ты смелая, – отвечаю я.

– Ну, наверняка посмелее тебя, – говорит она, открывая багажник и глядя на вторую половину «тетриса», уложенного из коробок и сумок.

– Мне нужно привыкнуть, – говорю я.

– Это мне нужно привыкнуть, – заявляет она – и она права.

– Будем жить на самом верху, – я указываю пальцем, где именно.

– Без окон? – спрашивает она.

– Они сзади, – говорю.

– Охуенно, – отвечает она.

Закуривает тонкую сигарету и показывает пальцем на вещи в машине.

– Погоди, – говорю я и закрываю багажник.

Открываю калитку, вхожу во двор. Пес, увидев меня, встанет. Смотрит внимательно. Некоторое время мы меряемся взглядами. Это худая овчарка цвета жженого кофе с молоком. Теперь я вспоминаю: каждую собаку отец называл Рокки. Когда один Рокки подышал, всегда через некоторое время появлялся другой.

Двери заперты. Я осматриваюсь в поисках ключа, но нигде его не нахожу. Звонок не работает, по крайней мере его не слышать. Стучу. Раз, другой, третий – безрезультатно.

– Ты говорил им, когда именно мы будем? – спрашивает

Юстина.

– Примерно к тринадцати, – говорю.

– Сейчас начало третьего, – говорит она. – Значит, ради этого мы и ехали. Чтобы никого не оказалось дома.

Юстина порой говорит вещи, которые звучат так, словно бы она вот только что из серьезной аварии. Когда она так говорит, меня начинает колотить, непроизвольно хочется кинуться с ней в драку. Но со временем я научился, что в этом нет смысла, ведь у нее всегда найдется чем мне ответить.

– Я встала в четыре утра. Я больная. Хочу пойти спать. Вот и все, – говорит она.

– Сейчас пойдешь спать, – отвечаю я.

– И где мне ее погасить? – спрашивает она, показывая кончик сигареты.

Я машу рукой: да где угодно.

Мы могли приехать раньше, даже должны были приехать раньше – я сказал моему отцу, что будем около полудня. Но сначала мне нужно было кое-что проверить. Вот уже пару недель я только и думал о том, чтобы навестить одно место, увидеть, существует ли оно еще. Словно и ничего особенного, несколько многоэтажек, место, где мы разводили костры, одно окно в верхнем правом углу.

Я знал, нет никакого смысла делать это сейчас. Что у меня весь будущий год, чтобы туда сходить. Что я могу делать это ежедневно. Знал, но все равно должен был.

– Знаешь, где они могут быть? Мы можем подъехать,

взять ключи, – говорит она.

– Понятия не имею. Телефон отца выключен, – отвечаю я.

– И что теперь? Тут холодно.

– Можем попытаться войти через заднюю дверь. Через подвал, – говорю я. – Или можем подождать.

– Нет, даже не думай. Я не стану никуда лезть без спросу, – заявляет Юстина.

– Это не «лезть без спросу». Это мой дом, – отвечаю я.

– Это дом твоего отца, а у тебя как раз дома нет, – напоминает она.

– И чего ты, собственно, боишься? – спрашиваю я.

Она не отвечает, только закуривает еще одну сигарету. С утра, кажется, выкурила почти пачку.

– Ты и правда не знаешь? – спрашивает она.

И прежде чем я успеваю ответить, добавляет:

– Похоже, мы затем сюда и ехали, чтобы снова по-глупому потрепать себе нервы?

Как я уже говорил, в Зыборк мы въехали около полудня. Чтобы добраться до Известковой, нужно повернуть направо, объехать центр. Я повернул налево.

Когда я должен что-то сделать, когда по-настоящему должен что-то сделать, у меня начинает сильно болеть живот. Перестает лишь когда я это сделаю. Не сразу, организму нужно несколько минут, чтобы понять. Такой себе нервный тик. Касается многих вещей. Порой я просто должен проверить, закрыл ли дверь. Не оставил ли включенным утюг. Увидеть,

осталась ли стена дома, в котором жила Дарья, все еще того же цвета мокрого пепла, старого, зацветшего хлеба. Когда я должен что-то сделать, мой мир суживается до тесного, темного туннеля.

Ратушная площадь Зыборка в полдень была совершенно пуста. «Может, потому что понедельник, – подумал я. – А может, потому что тут уже никто не живет». На площади было как всегда – два длинных ряда домов, пятиэтажка, шпили двух церквей. Дома из года в год покрываются все большим числом выгоревших на солнце и размытых дождями плакатов, баннеров, наклеек. Вся площадь теперь выглядит как большой, поблекший, трехмерный рисунок с пакета в супермаркете.

«Съемка свадеб/коммуний DVD». «Химия из Германии». «Свадебные платья». «AGD и RTV». «Канцелярские товары». «Фото». «Кебаб Алибаба». «Скидки полотенца кухонные 40 штук за 30 злотых». «Золото». «Ломбард». «Ломбард». «Алкоголь-24». «Ломбард». «Казино Вегас-24». «Ломбард».

Больше всего места занимали подмокшие и рваные избирательные плакаты, наверняка с недавних местных выборов. Умноженное до бесконечности лицо женщины под пятьдесят, с короткой стрижкой, резкими чертами и маленькими глазками, как у амстаффа, с улыбкой, что выглядела так, словно на этом смазанном лице ее проделали ржавым гвоздем. Надпись под плакатом гласила: «Кристина Булинская –

проверенный человек на проверенном месте».

Когда я в последний раз видел это место днем? Всегда ли оно так выглядело? Были ли когда-либо эти цвета земли, рубероида и дешевого фисташкового мороженого более живыми и насыщенными? Понятия не имею. В последние годы приезжая в Зыборк, я проносился сквозь него ночью, украдкой, часто проезжая на красный, пытаюсь как можно быстрее доехать до отцовского дома, выйти из машины, скорее вбежать внутрь. Я не хотел, чтобы Зыборк меня заметил, поскольку тот имел право предъявить мне претензии, имел право дать в морду. Когда я доезжал до дома, просил отца, чтобы тот поставил свою машину снаружи, а мне позволил въехать в гараж, потому что Зыборк имел право расцарапать мне капот гвоздем, оторвать зеркала, пробить покрывки.

На самом деле того Зыборка, которому более всего хотелось существовать, в Зыборке уже нет. Он есть в Варшаве, в Труймясте ¹¹, на Островах. Он далеко отсюда и уже забыл. Я надеюсь, что – забыл. Сколько можно помнить об одной книжке, которая вышла пятнадцать лет назад. Книжке, которая не настолько уж и важна.

Вроде бы все выглядело как обычно. Окрашенные в гнилую зелень лавки в парке, латунная доска объявлений у дома культуры, фонари, две башни: башня покинутой евангелической церкви и чуть дальше башня тевтонского замка. Небольшой мощеный островок автобусной остановки непо-

¹¹ Агломерация приморских городов: Гданьска, Сопота и Гдыни.

далеку от ратуши с похожей на пирожное коробкой.

Будто бы все – точно такое же, но чуть переставленное. Словно бы нечто, что было сутью этого места,

отступило, сделало пять шагов назад. Словно бы город пытался отвернуться от себя самого, как пьяница в депрессии.

– Где все? – спрашивает Юстина.

– В Англии, – отвечаю. Думал, что Юстина засмеется, но ничего подобного.

Я сделал круг по ратушной площади и повернул направо, в сторону Зашпалы. Зашпалу – ту часть города, что лежит за шпалами, – когда-то называли Бронксом. Название пошло от «Бара Бронкс», дискотеки, которую закрыли примерно в то же время, когда Польша вошла в Евросоюз. Был это адский и грязный кабак; вроде бы однажды там даже кого-то убили, какого-то журналиста из Ольштына, – но я и мои приятели, и Дарья никогда туда не ходили. Нашим местом были «Врата», клуб на замке. Но «Врата» – это совершенно другая история. Теперь в плоском, длинном павильоне, который некогда занимал «Бар Бронкс», находился склад металлоизделий. Мы миновали его, а потом – «Теско», приставленный сюда той же самой гигантской рукой, которая облепила рынок цветными щитами ломбардов; потом доехали до конца Зашпалы, под квартал небольших, четырехэтажных домиков, стоящих под самым лесом. Парой сотен метров дальше Зыборк заканчивался коммунальным кладбищем, на котором была похоронена моя мама.

– Мы не там, где должны быть, – говорит Юстина.

– Ага, не там, – киваю я.

– А где мы? – спрашивает она.

– Я живу на Шматах, на другой стороне города, – говорю я.

– На Шматах? – спрашивает она.

– Так говорили когда-то, когда на Шматах нигде не было асфальта, – отвечаю я.

– А что здесь? – спрашивает она.

– Бронкс, – говорю я.

– Бронкс, – кивает она. – Тут где-то кладбище, – вспоминает, начинает что-то узнавать. – Ты хочешь сходить на могилу мамы?

– Нет, не сегодня. Пойду с отцом. Может завтра.

Пока что я не хотел идти на могилу мамы. Пришлось бы говорить ей, что я скурвился.

Я вышел из машины. Глубоко вздохнул. Сделал несколько наклонов. Живот переставал болеть.

Эти дома не стали красить, все девять, поставленные неровным прямоугольником. Разделенные живыми изгородями, склеенные из асбестовых плит серые кубики выглядели так, словно их уронила на землю большая бессильная ладонь. Трухлявый заборчик. Качели. До половины вкопанные в землю покрышки, служащие как украшением, так и защитой для рахитичных клумб. Все – как и было. Все неизменно. «Может, потому, что этого места, этой земли, этой реальности никто не жаждет, – подумал я, – даже чтобы ее развалить,

покорить, истолочь, написать что-то на стенах. Разрушить».

Я помню, что у последнего из домов, под самым лесом, было место, где мы разводили костры.

Я раздумывал, пахнут ли лестничные клетки этих домов так же, как некогда: старой кожей ношеных туфель, деревом, молю, тысячами сваренных обедов.

– Ты не хотел ехать на могилу своей матери, но хотел взять меня сюда? Зачем? – спрашивает Юстина.

– Тут не в тебе дело, – отвечаю я.

– В таком случае, не обращай на меня внимания, – говорит она.

Я подхожу к среднему подъезду последнего дома. Деревянная, раскрашенная в бордовый цвет дверь – открыта. Я открываю ее, сую голову внутрь, втягиваю носом воздух. Запах – тот же самый, на миг. Потом его уже нет, потом лестничная клетка уже пахнет только гнилым ничто.

– Тут жила Дарья, – поворачиваюсь я к Юстине, которая осматривается вокруг, опираясь на машину.

– А кто такая Дарья? – спрашивает она.

– Моя первая девушка, – объясняю я.

– Так, может, постучим? Может, напросимся на чай? – спрашивает она.

Я не отвечаю.

– Охотно познакомлюсь с этой, как ее, Доротой, да? – спрашивает она.

– С Дарьей, – отвечаю.

– Да пошел ты нахер, – говорит она.

– Сама ты пошла нахер, Юстина. Ты не имеешь права говорить такое, – отвечаю я и отхожу.

Потому что она не имеет права говорить такое. Та, кто при живом муже пошла в постель со своим шефом.

Юстина что-то отвечает, но я этого уже не слышу.

Окно Дарьи находится в правом верхнем углу дома.

Теперь оно темное и пустое, как и все вокруг, но, может, вот сейчас кто-то да проявится из этой пустоты, из близкого леса, может, даже тот, кого я знаю. Может, этот кто-то спросит, что мы здесь ищем. Наверняка был тут такой персонаж, самозванный лесник, районный алкаш, живущий в беседках, сумасшедший, тянущий лямку на гроши своей пенсии. Тот, кто всегда спрашивал нас, что мы тут ищем. Появлялся всегда, но теперь я не могу вспомнить, кем он был и как выглядел.

Ничего такого не происходит. Те, кто остался и выжил – или на работе, или прячутся внутри. С точки зрения этих нескольких домов – наверняка есть от чего.

Помню, что каких-то два квартала дальше я, еще в младших классах, получил в морду от такого себе Жабы: высокого, толстого парняги из технаря. Жаба хотел сигарет. У меня сигарет не было. Жаба дал мне в морду, а потом для уверенности пнул в живот, но сигареты не появились. Через пару месяцев пришло лето, и Жаба прыгнул головой вниз в озеро. На дне озера лежали бетонные плиты с торчащими из них

ржавыми прутьями. С того момента Жаба мог двигать только головой, что было чудом странно, потому что ударился он именно головой. Мать его каждую неделю платила за мессу, чтобы Жаба снова мог двигать всем и давать кому-нибудь в морду. Увы, Жаба был Господу до жопы.

В окне ниже квартиры Дарьи зажегся свет, чтобы сразу же погаснуть. То есть кто-то тут все же жил. Ее мать? Бедная и безумная женщина, которая выкуривала четыре пачки русских сигарет в день?

Дарья, моя первая девушка, мертва вот уже семнадцать лет. Лежит неподалеку от моей матери, всего-то в двух рядах могил от нее. Чтобы перейти от одной могилки к другой, хватит полминуты неторопливой прогулки.

– Гляди, – говорит вдруг Юстина, показывая пальцем на столб неподалеку.

На столбе висит листок в полиэтиленовом файле, распечатанный на принтере. На листке – фото, на фото – мужчина лет сорока, обрюзгший и смуглый, начинающий лысеть, в черном костюме. Блестящая кожа и красные огоньки в его глазах указывают на то, что снимок сделан, скорее всего, на свадьбе, на которой он успел принять на грудь литр водки, ведро котлет, попеть хором насчет того, что все поляки – одна семья, был у матери сынок и пусть живет Зыборк, воля и свобода. Снимок отвратительно кадрирован; сбоку виден узкий фрагмент еще одного лица. Наверняка это был общий план – мужчина, похоже, наклонялся к кому-то справа.

Над фото виднеется надпись: ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ.

– Ты его знаешь? – спросила Юстина.

Да, я его знал.

– Мацюсь, – улыбнулся я снимку. Естественно, я знал Мацюся. Все знали Мацюся. Тот в свое время играл роль короля Зыборка, хотя был глуп, как мусорное ведро; жалкая разновидность человека, который готов ради развлечения пнуть собаку.

Мацюсь был главарем зыборской банды, воровавшей машины. Потом отмывал деньги с тех машин в разных бизнесах типа видеопроката, местного кабака «Трефль», игровых автоматов или бильярдного клуба.

Давным-давно мы ходили в клуб Мацюся поиграть. Были малолетками, не умели даже нормально держать кий, часто просто толкали им биток в сторону луз. Сам стол, который купил Мацюсь, неровный и порезанный, истыканный сигаретами, делал совершенно невозможной нормальную честную игру. Мы всегда играли куда дольше, чем это было выгодно Мацюсю, а потому тот как-то сказал, что нам пора прекратить и уступить место парням постарше, что ждали своей очереди, – а то и просто свалить отсюда на хрен. Мой брат принялся с ним спорить, хотя тогда ему было лет десять. Мацюсь сказал, чтобы мой брат заткнулся и шел домой, а Гжесь тогда взял кий, которым играл, и изо всех сил влупил им в стену. Кий развалился на две части.

– Лукаш Гвуждж? – спрашивает она.

– Мацюсь, – повторяю я и только тогда до меня доходит, что Мацюсь исчез.

– Он, кажется, был в твоей книге, нет? У него был бильярдный клуб? – спрашивает Юстина уже под домом моего отца, еще раз взглядываясь в листок, который сняла со столба и сунула в карман, и тогда я слышу мотор машины, которая сворачивает на Известковую, приветствуя ее снова грянул хор псов.

– Не помню, кто в ней был, – отвечаю я, хотя прекрасно все помню. О Мацюсе в ней была даже отдельная глава.

Машина едет дальше, не останавливаясь около дома. Черный, немного подержанный БМВ со странно поблескивающими, серебристыми ободами, явно самая чистая часть автомобиля. Машины я не знаю, не знаю и водителя.

Отворяю калитку и даю знак, чтобы Юстина шла следом.

Мы обходим дом, дерево, топчем стружку, минуем пластиковые ведра, бочки, доски и доходим до задов дома, к маленькому узкому дворику, который почти полностью забит поставленными в высокие поленницы дровами. Три террасы – по одной на этаж – тоже забиты предметами.

Старая микроволновка, старый холодильник, горшки, пластиковые плечики, горный велосипед, который я получил на свое первое причастие.

Присаживаюсь у окна в подвал. Оно закрыто, но его можно открыть перочинным ножиком, я даже помню как именно.

– Наш будет тот, самый высокий? – спрашивает Юстина, глядя на балконы. Я киваю.

– Я не стану входить отсюда. И мы не станем залезать в дом моего тестя, Миколай, – говорит она.

– В чем, нахер, дело?! – кричит кто-то издалека.

Сперва я не узнаю голос, быть может потому, что он слишком неожиданно лупит меня в ухо. Юстина подпрыгивает.

– В чем дело, что ты, сука, там ищешь? – голос слышен снова, и только тогда я поворачиваюсь и вижу крепкого мужика в застиранной рубаше, трениках, стоптанных туфлях, в придавленной шляпе, напоминающей блин. Чувак курит и смотрит на нас, стоя под домом рядом. Потом шагает в нашу сторону.

Когда идет, видно, что он улыбается.

– Это Гжесь? – спрашивает Юстина.

– Что, вам в Варшаве жрать не дают? Людей приходится обворовывать? – спрашивает он и подходит еще ближе.

– Нет никого, Гжесь, – говорю я.

Брат здороваётся с Юстиной. У Гжеся темные, жилистые руки, лицо заросло щетиной, крепкие мышцы – из года в год все крепче, но это не мышцы, накачанные в спортзале. Кожа обтягивает мускулы и кости, как твердая резина. Выглядит он лет на десять старше, чем ему на самом деле. Треники измазаны чем-то белым, краской или известкой. Пахнет от него побелкой и выдохшимся пивом из банки.

– Ну, отца нету, – говорит он. – Не знаю, где он.

– А Агата? – спрашиваю я.

– Привет, Гжесь, – говорит Юстина.

Тот осторожно берет ее руку в свою. Улыбается.

– Привет, невесточка, – говорит. Я вижу, что у него нет половины переднего зуба, который еще год назад был целым. – Привет, Бледный, – говорит мне.

Некоторое время мы стоим молча. Потом брат улыбается, смотрит на нас, улыбка его – чуть заговорщицкая, словно бы мы как раз выслушиваем одну из его шуток – и еще не добрались до ударной ее части.

Мой брат – вредный садист. Унаследовал это от деда. Его увлечение по жизни – сбивать людей с панталыку. Может продолжать свои шуточки неделями и при этом никогда не вскипает. Когда мы были пацанами, он сумел убедить все Шматы, что через пару месяцев наша семья перебирается в Америку, что будет теперь жить у нашего дяди, которого зовут Януш, у которого есть жена Элизабет, излишний вес и сеть мясных магазинов. Через пару дней все в округе принялись нас навещать, помогая отцу в мелких домашних делах, поднося маме сумки из магазина, рассчитывая на то, что когда мы уже станем королями грин-карты, можно будет одолжить у нас денег. Однако лучший свой номер Гжесь устроил, когда был уже взрослым. Три года обманывал отца, что учится, – и это, кажется, был единственный раз, когда отец дал себя обмануть.

Гжесь присаживается у окна в подвал, стучит в стекло:

– Ты не открыл бы, я сменил защелку. Теперь никто не открыл бы. Пришлось бы ломать, – стучит снова. – Стекло новое. Отец бы тебе вьебал, выбей ты.

– То есть черного входа нет, – киваю я.

– В дом не может быть черного входа. Должен быть только один, спереди, – говорит мой брат. Отряхивает руки. – Можем пойти ко мне, – Гжесь встает, проводит ладонями по треникам, вытирая их. – Только у меня бардак. Детишки.

– Они с тобой? – спрашиваю я. Улыбка сходит у него с губ, глаза делаются мутными, он снова сплевывает.

– Вчера были. Сейчас опять в Германии. У матери, – Гжесь вынимает из кармана пачку сигарет. – Но через месяц приедут снова.

– Классно, – говорит Юстина, чтобы сказать хоть что-то.

– Я мог бы быть с ними постоянно, – говорит он, скалясь. – Это самое охуенное развлечение, точно говорю. Сама увидишь.

Гжесь развелся год назад. Я слабо знал Камилу, его жену. Мы разговаривали, кажется, всего раз в жизни, на какой-то праздник. У Гжеся два сына: четырехлетний Борис и младший Кайтек. Кайтек, кажется, родился уже после развода. Когда брат сказал мне, что они развелись, я даже не знал, что об этом думать. Позвонил ему, чтобы утешить, и спросил, отчего так вообще случилось, а он обронил что-то вроде того, что ей просто не нравилось в Зыборке.

Ему, как утверждал, нравилось – и очень. Говорил, что в

Зыборке остались только те, кому нравится, ну и супер.

Из-под подвернутой рубахи видна татуировка в виде, кажется, чудовища с обложек альбомов Iron Maiden. Гжесь любил металл, фантастику, игры RPG. Рисовал, много и, наверняка, плохо, главным образом – бородатых мускулистых воинов и их грудастых конкубин. Раньше гонял по кругу старые хорроры типа «Восставшего из ада» или «Хеллоуина».

Гжесь тридцать лет своей жизни дергал и пинал все, что оказывалось поблизости. Он до сих пор не решил, кем хочет быть, его тело и черты лица теперь принимали решение сами собой, независимо от его воли насчет окончательного их вида. Гжесь превращался во взрослого мужчину из Зыборка, в определенный конкретный его тип.

– Даже не знаю, есть ли у меня кофе и чай, – говорит он и чешет голову. – Пиво есть точно. Бурджяки снова все сдохли, – ухмыляется, глядя на дом Бурджяков. Я тоже ухмыляюсь. Старая домашняя шутка. Вижу, как он вскидывает ладонь, кого-то приветствуя. Не вижу, кого именно.

Юстина вытаскивает из кармана отцепленный от столба листок, сует Гжесю под нос.

– Думаю, он с русскими не сговорился, – говорит задумчиво Гжесь, все еще глядя на дом Гумерских.

– Мне тоже так кажется, – говорю я.

– Полиглотом-то он никогда не был, – улыбается брат. – Что, пенсия, тишина – можно и прогуляться? – кричит он кому-то, кого я не вижу и кто ему не отвечает.

Когда Гжесь сломал в бильярдном клубе об стену кий, Мацюсь так взбесился, что опрокинул его на пол и принялся пинать. Десятилетнего мальчишку, изо всех сил, в спину и ребра, кожаными остроносыми сапогами, пинал его и пинал, а мы не могли ничего поделать, только подпирали испуганно стену.

Мужчина в куртке-дутьше медленно движется вдоль нашего забора. Он не старик, но подволакивает ноги, как старик. На ногах у него шлепки. При виде Гжеся делает странную гримасу, словно пытаясь улыбнуться.

– Это Ниский? – спрашиваю брата, когда чувак минует наш забор.

– Ниский, Ниский. Молодой Ниский, – Гжесек кивает.

– Ужасно быстро ездил на тачке, – я помнил парня, старше меня на пару лет, который наворачивал круги темно-синим «гольфом» по неасфальтированным дорогам, поднимая тучи черной, едкой пыли.

– Теперь он уже никуда не торопится – после удара-то, – Гжесь улыбается.

– Говори тише, он слышит, что ты говоришь, – я дергаю головой, потому что чувак все еще недалеко от ограды.

– Даже если и слышит, ничего не говорит, – отвечает Гжесь.

Тогда в клубе Мацюсь пинал Гжеся долго, будто мой брат был чем-то неодушевленным, мягким мячом, горкой земли. Гжесь заслонялся, как мог, а Мацюсь его пинал; это продол-

жалось долгие секунды, но вдруг Гжесь изо всех сил укусил его за голую щиколотку, до крови. Мацюсь вскрикнул, Гжесь вскочил и бросился наутек. Мы выбежали следом. У брата были сломаны три ребра, кровь Мацюся была у него на зубах, но это стало понятно только вечером, в больнице. Гжесь даже не заплакал. По крайней мере, не при всех.

– Пойдемте, пойдемте, – он машет рукой, чтобы мы шли следом. Втаптывает сигарету в землю. Древесная стружка приклеивается к его туфлям.

– А вещи? – спрашивает Юстина. – Мы должны распаковаться.

– Да нормально. У вас на это год будет, – Гжесь улыбается и снова сплевывает, слюна падает рядом с его туфлей. – У вас целый год будет, чтобы разваршавиться.

Юстина

– У меня для тебя есть подарок, – сказал Он. Его голос был комично низким, и из-за этого не удавалось относиться совершенно серьезно ко всему, что Он говорил. Принес мне что-то небольшое, завернутое в бумагу – блокнот или небольшую книжку. Держал это на вытянутой ладони. Я все еще думала о нем «Он». «Он» держал, «Он» позвонил, «Он» написал.

Я просто сидела, Он просто стоял, но вместе мы делали кое-что плохое. Отчего все думают, что плохие вещи совершаются в темноте? Есть вещи, которые всегда делаются среди белого дня.

Наконец я на него взглянула. Как обычно, Он стоял выпрямившись, заслонял собой солнце. Я видела Его неясно, словно в тумане. Меня это радовало. Не хотела видеть Его отчетливо. Не хотела, чтобы Он видел меня отчетливо. Очень не хотела Ему нравиться. Не подкрасилась, не причесалась, не сняла старый лак. Выглядела как большой пузырь с намалеванным богомазом лицом.

– Мы уезжаем, – сказала я.

– Уверена? – спросил Он

– Сегодня вечером или завтра с самого утра.

– В Мазуры? – спросил Он.

– Наверняка на год. Может и на дольше, – сказала я.

– Ты ведь ненавидишь лес. Паникуешь при виде деревьев, – напомнил Он мне.

– Привыкну, – заявила я.

– Это нехорошо, – ответил Он.

Конечно, Он был прав. Все, что мы делали, было очень нехорошим.

Лавка, на которой я сидела, стояла в сквере Броневского, рядом с ларьком с гамбургерами, из которого долетал сладкий, тошнотворный запах. Рядом сидела старушка в розовом спортивном костюме из крэша и в мужских солнцезащитных очках. Неподвижно смотрела в одну точку и только прикуривала сигарету от сигареты. Прежде чем Он пришел, я думала, что мы, возможно, устроим соревнования, я и эта дама: кто выкурит больше сигарет за пятнадцать минут. Потом поняла, что у меня они тонкие, а у нее – толстые красные мальборо-сотки, и это разные спортивные категории. Впрочем, кроме сигарет она ничего и не имела, а у меня был холодный кофе в бумажном стаканчике и бутерброд, от которого я дважды откусила, так и не добравшись до ветчины.

Наконец Он опустил руку с подарком вдоль тела, положил мой бутерброд мне на колени и, освободив таким вот образом для себя место, сел рядом; уперся локтями в колени, сплел пальцы и улыбнулся, не раскрывая рта. Улыбка эта была жуткой. Когда бы я увидела ее на лице кого другого, убила бы. Его улыбка говорила: ну ладно, ты могла не знать, хотя спроси ты – узнала бы обо всем.

– Давай без шуток, – сказал Он.

– Мы приняли такое решение, – ответила я.

– «Мы приняли», – повторил Он.

– Я и мой муж, – объяснила я.

– Это его идея? – спросил Он.

– Это его идея, – сказала я.

Смотрю на него и раздумываю, вот когда говорят, что кто-то выглядит на сколько-то там лет, – что это значит? Говорят: он выглядит на сорок пять, а на самом деле ему сорок восемь; Он выглядит так, словно Ему сорок пять, а на самом деле Ему пятьдесят восемь. Может потому, что Он болезненно ухоженный. Кто-то мог бы сказать, что Он нахален, что в Нем есть нечто от неряхи. Но нет, все, что в Нем может показаться неряшливым, – болезненно ухоженно. Достаточно посмотреть на Его штаны. Вроде бы старые, но, собственно, они вроде-старые, они из дорогой материи, которая выглядит вроде-старой, а портной Макарони или какой другой Блонский шьет Ему штаны как вроде-старые. Достаточно посмотреть на Его ногти, словно бы нарисованные циркулем.

Это началось на банкете. Банкет был по поводу премьеры той компьютерной игры, в которую издательская группа инвестировала миллион долларов, что принесло десять миллионов долларов прибыли. Все радовались, а потому устроили радостный банкет, а я заявила туда, поскольку была тогда мужественным рабом группы, работавшим в репортажном отделе и пишущим все те номинированные и премирован-

ные репортажи о человеческих несчастьях.

Уже приближался конец торжества, мы стояли в одной очереди в туалет, и тогда Он попытался подбить ко мне клинья. Сказал что-то несмешное, а я засмеялась – до сих пор не знаю, почему. Я знала, кто Он такой, не помнила, как Его фамилия, но знала, что это Он издал распоряжение инвестировать миллион в игру.

Я запомнила фамилию через пару часов, когда Он пошел в душ. На прикроватной тумбочке была визитница. Меня это ужасно рассмешило. Я взяла две визитки.

Ненавидела Его, но делала то, что Он хотел. Его гений и состоял в том, что все вокруг делают именно то, чего Он хочет.

Потому-то у Него и было столько денег.

– Ну да, у вас же нет денег. У Миколая нет денег, – всякий раз, когда Он произносил «денег», я чувствовала на языке привкус, словно полчаса сосала монету в пять грошей.

– Оставь его. Это не твое дело. Это его проблема. Оставь его с ней и пойдем, – сказал Он и протянул мне руку, до которой я не дотронулась. Он снова спрятал ее в карман. Все еще улыбался. – Нет, это не для него. Ты так поступаешь не для него, – заявил через миг.

– Для нас, – ответила я, не понимая до конца, каких таких «нас» я, собственно, имею в виду.

Сказала бы Ему, что не могу перестать чувствовать себя ответственной за Миколая. Что я познакомилась с Микола-

ем, подняв его с земли, буквально.

– Хрен там тебе есть до этого дело, – добавила я.

И если я брошу Миколая, он снова упадет на землю, но на этот раз его никто не поднимет.

Тогда почему ты это сделала, Юстинка? Может, все дело в голосе. Глубоком, словно колокол, сперва смешном, потом гипнотизирующем. Слегка как у Фрончевского в «Пане Кляксе».

– У вас даже детей нет, – сказал Он.

– Миколай обо всем знает. Я ему рассказала. Рассказала ему обо всем.

На миг лицо Его стало лицом человека, который вдруг понял, что в рот к нему попал живой червяк. Если бы я Его не знала, даже не обратила бы на это внимания.

– Зачем? – спросил Он.

– Потому что меня от этого тошнит.

– И теперь вы уезжаете? – спросил Он риторически.

– Да, и теперь мы уезжаем, – ответила я.

– Ой-ой. Он простит тебе все. Тут его кроме тебя уже не ждет ничего.

От Него аж било издевательским, притворным переживанием.

– Весь твой интерес ко мне, Юстина, – сказал Он тихо, – идет от того, что тебе кажется, будто ты мне не нужна.

Я ударила Его в плечо: раз, другой, третий. Так сильно, как смогла. Он напряг руку, и я почувствовала себя так, слов-

но ударила кулаком в стену. Но я продолжала бить: четвертый, пятый раз.

– Я ухожу, – сказал Он и встал. Заслонил собой солнце.

– Погоди.

– Чего? – спросил Он.

– Если ты такой умный, то скажи мне, зачем я туда еду.

Скажи мне, что на самом деле думаешь. Ты, уебок, – сказала я.

– Что-то там есть. Какая-то история, тема. Ты еще не знаешь что, но чувствуешь это нутром, – Он пожал плечами, а я, словно желая спросить, об этом ли месте Он говорит, приложила ладонь к животу.

– Ты не хочешь даже думать, что все, что было – было ошибкой, – сказала я.

– Может и так, – ответил Он.

– В этом я вижу отсутствие уважения, – заявила я.

– Отсутствие уважения к чему? – спросил он.

Был нахален как тот, кто ни разу в жизни не слышал, что ошибается.

Старушка в розовом спортивном костюме куда-то уходила. Я видела, как расступаются перед ней голуби.

Я столько раз говорила Ему: у меня есть муж. Говорила это и себе. Ни Он, ни я не принимали этого всерьез. Даже фантазировали на эту тему. Были у нас насчет этого миражи. Фата-морганы. Он полагал, что я разведусь. Я полагала, что Ему надоест, Он найдет кого помладше, а я немного постра-

даю, а потом все приму. Естественно, теперь это не имело никакого значения.

– Как называется это место? – спросил Он.

– Зыборк, – ответила я.

– Тебе придется приезжать в Варшаву, чтобы не сойти с ума, – сказал Он.

Там, где сидела старуха, теперь уселся громко дышащий мужик в кофте. Под его ногами голубь сосредоточенно клевал собачье дерьмо.

Потом мужик отвернулся. Я видела, как Он гипнотизирует людей, просто стоя к ним спиной. Ему достаточно было заговорить.

– Хватит одного моего слова. Болинский вылетит, а ты станешь начальником отдела, – сказал Он тихо.

– Болинский – твой друг со времен лица, – напомнила я Ему.

– Вылетит, а ты станешь начальником отдела, – повторил Он.

Прекрасно владел языком тела. Люди, которые проходили мимо или стояли неподалеку, могли подумать, что Он спрашивает у меня о дороге.

– Одно мое слово. Но и ты должна кое-что сделать, – говоря, Он смотрел на свои ногти.

Я почувствовала себя словно поучаствовала в съемках редкого по отвратности порнофильма, за который мне потом не заплатили.

– Я должна идти, – заявила я.

– Поедешь в Зыборк, но через пару дней позвонишь и скажешь, что не можешь там выдержать и что твой муж остается в Зыборке, а ты вечером будешь в Варшаве. Приедешь в Варшаву и пойдешь со мной на ужин, а потом пойдешь ко мне. А на следующий день будешь начальником отдела, – сказал Он.

– Ты настолько серьезно настроен? – спросила я.

– Да, – ответил Он.

– Почему? – спросила я.

– Пожалуй, потому что я тебя люблю, – сказал Он, стоя ко мне спиной, и сразу ушел, а я осталась на лавке одна.

Когда Он уходил, выбросил что-то в корзину: тот подарок, о котором говорил.

Блокнот или маленькую книжку.

Мне тоже нужно было кое-что выбросить в корзину, потому я выбросила бутерброд и кофе.

Солнце теперь разливалось по всей площади, капало с деревьев, насыщало все, а единственное, что я могла сделать, это пойти в киоск за новыми сигаретами и подождать старушку, пока та вернется, чтобы курить вместе с ней, сигарету за сигаретой, глядя в ту же точку, что и она, и, может, через время, когда я успокоюсь, все ей рассказать.

– Сука ты, – наверняка сказала бы она.

– Огромное вам спасибо, – наверняка ответила бы я.

Миколай / 2000 /

Страна тысячи упреков

– Иди, – говорю я ей.

Потом откликается она, и так мы говорим друг другу, по кругу. Иди. Нет, ты иди. Нет, давай ты иди. Шаг вперед, шаг назад, а в конце концов никто не двигается с места. Мы словно проверяли друг друга, играли в «моргалки», кто первый сдастся.

Трупак и Быль, то есть Давид и Камиль, лучшие мои приятели, стоят в паре шагов, пьют «бровар» из банок и, глядя на меня, всю веселятся. Трупак смеется так, что аж сопли вылетают. Вместе с Трупаком и Былем рядом с нами еще несколько человек, и тоже смеются: или над нами, или над чем-то совершенно другим.

(Трупак выедет в Шотландию и откроет там предприятие по ремонту мебели. Слегка полысеет и немного потолстеет. Настрагает тройку здоровых и толстых детишек. Быль останется точно таким же болезненно тощим, каков он и теперь, по крайней мере, так он будет выглядеть на Фейсбуке. Серия мелких, неудачных делишек бросит его на немецкую фабрику и в пару других темных и холодных мест.)

Но сейчас им весело, а веселее всего – мне и Дарье. Только пару раз в жизни было мне так весело, и я знаю, что больше никогда не будет.

Мы стоим во дворе замка в пятницу или в субботу вечером. Часов в одиннадцать или двенадцать, а может уже за полночь. Во дворе замка – клуб, которого скоро не станет, через год или два. Но сейчас он есть. Он есть всей своей сущностью, шумной, темно-желтой, слегка вонючей, чуть затуманенной, но его никак не подвергнуть сомнению.

Этот двор, этот замок – я уверен – кто-то аккуратно поднял их с земли и подвесил, как елочную игрушку, в черном небе. Чтобы отсюда выйти, нужно спрыгнуть, и совсем не ясно – с какой высоты. Потому все боятся и никто не уходит. Клуб называется «Врата». В клубе «Врата» гремит песня Oasis: громче, чем хотелось бы даже самым отъявленным фанам группы. Трескучие басы песни подпрыгивают в моем желудке вместе с тремя пластиковыми стаканами пива и парой глотков крепленного спиртом вина с названием Cavalier. Кто такое придумал? Кто кому первым посоветовал это пить? После пары глотков начинает казаться, что этот вкус останется у корня языка навсегда – вкус заплесневелых фруктов, мыла и ржавчины.

Честно говоря, я не слишком люблю Oasis. Но танцую под Oasis, под песенку Wonderwall, потому что Дарья тоже танцует.

Я познакомился с Дарьей через нашу общую подругу Аську. На вечеринке у Аськи дома. Но такое знакомство в Зыборке, городе, где все знают о существовании друг друга, – совершенно нормально.

С этим у меня проблема, поскольку Аська влюблена. Собственно, тот вечер она выбрала, чтобы признаться мне в этом. Отвела на лестницу верхней балюстрады двора, усе- лась на пол и оперлась о деревянный поручень. Закурила и глотнула немного дыма. Остальной медленно выпустила, в воздухе повис след – на долю мгновения, – как от мини- аэроплана. Может, она думала, что спецэффекты хоть немного спасут ее достоинство. Смотрела не на меня, а в сторону, в угол зарешеченного окна, пытаюсь выглядеть киноактрисой, а я, в свою очередь, не смотрел на нее, потому что глядел сверху на мощный участок двора и видел Дарью, Быля, Трупака, а еще Кафель с его приятелем Порчиком, которые как раз пришли в замок. Кафель кружил, ошупы- вая свой лысый череп, чесал подбородок, то и дело чвиркал слюной меж зубов. У него была диастема, потому чвиркать получалось превосходно. Когда он был трезв, то почти не открывал рта, стыдясь ее. Кафель двигался быстро, словно его что-то дергало, пытаюсь из него вылезти. Кафель работал на стройке, а кроме того был скином, постоянно закидывал- ся амфи и наверняка нюхнул и сегодня. Искал свою девуш- ку, Ольку. Спрашивал о ней. Мол, хотел ей что-то сказать. Не говорил, что именно. Порчик, такой же лысый и дурной как Кафель, был медленнее, более раздумчив и без диасте- мы, в надетой под военную куртку футболке наци-группы «Линч’88». Стоял рядом: негромкий помощник.

– Знаешь, ты супер... – начинаю я, но она меня прерыва-

ет. В воздухе повисает новый дымный след. Кафель дергает кого-то из своих приятелей, чтобы сразу извиниться, разгладить их одежду, которую он еще миг назад комкал в горсти.

– Ладно, Бледный. Я все понимаю. Я охуенная подруга, у меня охуительная личность, я слушаю пиздатую музыку, одалживаю тебе кассеты и не злюсь, когда они возвращаются в битых коробках, но... Посмотри на меня. Я все понимаю, – ответила она, на миг прикоснувшись к глазам рукавом клетчатой рубахи.

– Все не так, – сказал я. И тоже закурил. Закашлялся. Курить я стал недавно. – Я чувствую себя дураком, – я и правда чувствовал себя дураком.

– Ты в любом случае в выигрыше, – она глотнула немного дыма.

– Если что, я внизу, – сказал я и почувствовал себя дураком еще больше. Это было правдой, Аська слушала по-настоящему классную музыку. Tool, Ministry, Smashing Pumpkins. Type O Negative и PJ Harvey. Cocteau Twins и The Cure.

Мы часто валялись у нее в комнате, покуривая травку и слушая Treasure от Cocteau Twins с пластинки, которую она унаследовала от старшей сестры. Эта музыка была как сладкий туман, как тысячи отжатых в пасту закатов солнца, и можно было влюбиться в любого, кто ее слушал.

Аська влюбилась в меня именно тогда, и была права – я бы тоже в нее влюбился, если бы она не выглядела как куб.

Я спустился, оставив ее там и с каждым шагом чувствуя

все большее облегчение, и стал протискиваться сквозь толпу к Дарье, которая стояла неподалеку от колонок, рядом с другой своей подругой.

Дарья классная. Правда классная. Невысокая, но с большой грудью, которая, может, и чуть отвисшая, но – большая и, как по мне, красивая. А еще у нее чуть кривоватые и чуть коротковатые ноги, но и это не слишком заметно. У нее красивые, большие, черные миндалевидные глаза и длинные ресницы.

Когда я был уже в полуметре от Дарьи, Быль дернул меня за куртку и оттянул в сторону. Показал мне набитый планом косяк, а потом кивнул в сторону двери в сральник. Я покачал головой.

– Ну, сука, ты чё, гонишь? – удивился Быль.

Я кивнул на Дарью.

– Без шансов. Ты чего? – пожал он плечами и пошел к Трупаку и паре других пацанов, которые ждали под дверью.

Я думал, что Дарья начнет допытываться, где Аська, искать ее взглядом, но она просто улыбнулась и взяла меня за руку. Ладонь ее была холодной и чуть потной. Я помню, что удивился, когда она придержала мою руку в своей чуть дольше и крепче, чем обычно, будто чего-то ждала и теперь потеряла терпение. Я помню, на ней была рубаша в мелкую клетку, на шее висело что-то на ремешке, а еще – масса ремней на запястье.

Но больше всего я помню ее волосы. Длинные, черные,

чуть волнистые, густые. До середины спины. По волосам ее можно было узнать метров с двухсот.

– Потанцуешь? – я тянул это слово из горла, словно длинную, спутанную нитку.

– А то, – кивнула она.

Может Дарья и Аська просто не были настолько хорошими подругами, как мне казалось. Может, Аська все еще сидит на ступеньках.

И только сейчас мне по-настоящему сделалось ее жаль.

На танцполе было несколько пар, кроме прочих – Ярецкий и Каролина, вокруг которых крутился весь клуб «Врата» со всеми своими туманами, грязной желчью и трескучей музыкой. Ярецкий был чуть старше, у него были длинные белые волосы, а еще он пел в группе, которая называлась 17 секунд, как пластинка The Cure, и он записал песню «Машина», которую в Зыборке мог провить каждый. Каролина не пела и, по сути, не делала ничего, кроме как просто была невероятно красивой девушкой. Раскачивалась со стороны в сторону, лениво, с закрытыми глазами, под ритм песни, с поднятыми руками, ее приоткрытый рот, казалось, целовал кого-то невидимого, того, кто стоял между ней и Ярецким. Ярецкий медленно двигал бедрами взад и вперед, с губ его свисала незажженная сигарета; он пытался делать вид, что Каролина ему совершенно не интересна и что с тем же успехом он мог бы стоять тут в одиночестве, гоняя воздух. У него даже получалось.

«Машина резко повернула, хоть были выключены фары», – так пелось в их хите.

Дарья очень классная, но Каролина – просто супер. Когда я гонял лысого, то представлял себе Каролину в тройничке с разными девушками из порнофильмов. У нее были длинные ноги, прямые белые волосы, сережка в носу и пупке и, вроде бы, татуировка на спине, я не видел, но девчонки говорили, что она набила себе крылья ангела. Каждый парень в Зыборке фантазировал о Каролине, но именно Ярецкому было двадцать три, именно он пел в группе песню о машине, которая поворачивает, и это, пожалуй, закрывало тему.

На всех нас были клетчатые рубашки. И – либо куртки fruit of the loom, либо верхняя часть фээргэшных спортивных «адидасов» на молниях.

– Ну, ты чего, давай двигайся. Стесняешься, или как? – Дарья улыбнулась и прижалась ко мне, чтобы от ее движений я начал двигаться интенсивней.

(Если совсем уж честно, то порой, когда я гонял лысого, представлял себе, как Дарья и Каролина лижут друг другу щелки. Знал также, что с этого момента не смогу уже так делать. Когда я начинал чаще разговаривать с какой-то девушкой, то уже не мог теревить свою морковку, думая о ней.)

Пойдем отсюда, сказал я ей, когда песня закончилась. Не знал точно, что должен думать и куда должен пойти. Представлял множество вариантов, не веря, на самом-то деле, ни в один из них.

(Я снова поглядел на Каролину, которая как раз приходила в себя от танца как от долгого сна и осматривалась в поисках пива; я подумал, что ни она, ни я не имеем ни одной причины, чтобы сказать друг другу хотя бы пару слов)

– Ну ладно, – Дарья улыбнулась еще шире и пошла за мной к выходу, и мы встали во дворе, который успел, пока нас не было, наполниться людьми.

Кафель, одетый в черные «флаерсы» и штаны ленары¹², продолжал поплевывать вокруг себя и ощупывать бритую голову. То и дело вытирал нос. Кто-то позвал его, и тогда Кафель, вообще не глядя в ту сторону, забоксировал в воздухе.

Это было минуту назад, а сейчас – сейчас. Мы во дворе, я и Дарья, в паре метров друг от друга. Я протягиваю ей руку, словно собираясь помочь перепрыгнуть через лужу.

(Уголком глаза вижу как к Трупаку и Былю подходят мои приятели. Квадрат, который уедет в Гданьск и станет барменом, но сперва его арестуют на десять месяцев за печатанье банкнот на домашнем принтере; Марас, которого через несколько месяцев убьет его собственный отец, приняв в делирии за грабителя и пырнув ножом в живот; Флегма, чья строительная фирма поставит половину девелоперских домов в Ольштыне, хотя сейчас может показаться, что он и кирпич не сумел бы поднять.)

¹² Фирменные штаны польского производителя и спортсмена Р. Ленара; отличаются свободным покроем и низким карманом; первые фирменные польские штаны, имевшие успех в стране.

– Ну, Дарья, пошли, пошли со мной, – говорю я, и потом кто-то из нас начинает смеяться, а кто-то еще, кто-то постарше, говорит Дарье: «Ну, иди с ним, гляди, как парню охота, иди с ним».

– Олька! Олька, сука! – голос Кафеля звенит рядом со мной в тот миг, когда его девушка появляется в воротах замка, будто бледный призрак; Кафель идет в ее сторону, быстро, в несколько шагов преодолевает половину двора.

Олька вошла – собственно, ее словно что-то принесло, как брошенный ветром бумажный пакет. Она была такой бледной, такой сухой и тонкой, что черные локоны на маленькой головке казались самой тяжелой частью ее тела.

– Ты где, нахуй, была? Где ты, сука, была? Я тебя, сука, жду, ищу тебя по кабакам, а ты что, нахер, устроила? Что ты, нахер, устроила?! – громко спрашивает Ольку Кафель.

– Да ебись ты конем, уебок несчастный, – отвечает ему Олька.

И так-то они разговаривают, и никто уже не смотрит на нас, потому что все смотрят на Кафеля и Ольку и ждут, когда начнется, когда один ударит или толкнет другую и когда придется оттягивать Кафеля от Ольки, чтобы тот не схватил ее за волосы и не принялся лупить головой о ближайшую плоскую вертикальную поверхность – что он, как говорят, уже когда-то делал. Только когда мы уже выходим из замка, сквозь узкую и короткую горловину ворот, когда музыка остается позади нас, приглушенная и стихшая, Дарья задает

вопрос, на который у меня нет ответа:

– А вообще, куда ты хочешь пойти?

– К Психозу? – отвечаю я миг спустя.

– Ну, можно, – говорит она после короткого раздумья.

Когда выходишь со двора замка, а потом, сразу за стеной, поворачиваешь направо, вглубь окружающего замок парка, то через пару минут приходишь до небольшой поляны с высоким, метра в три, каменным памятником на постаменте в серой штукатурке, с несколькими лавками, поставленными полукругом подле него. На постаменте памятника, на табличке, видна большая, нанесенная черным спреем надпись: ПСИХОЗ. Надпись эта исчезнет через несколько лет, кто-то в конце концов выведет ее химией для смывки граффити, чтобы открыть спрятанную под ней табличку с названием. Но сейчас надпись еще есть, большая, черная, кривая и косая, нанесенная рукой, для которой писание чего-либо было довольно редким приключением. Психоз еще жив.

– Там может кто-то быть, – говорю я.

– И что с того? – отвечает она.

– Ну ладно, – киваю я.

– Так кто кого туда ведет? – спрашивает она и улыбается.

Надпись сделал некий Гизмо, парень, который так торчал, что торч и вообще стал главным его состоянием. Я едва его знал.

(Гизмо, который потом закончит всю эту историю жутким образом. Я на него не в обиде. Сложно обижаться на него,

Гизмо нет и уже никогда не будет.)

Трупак знал его лучше и утверждал, что первый косяк он раскурил именно с Гизмо. И что якобы Гизмо однажды просто подошел к памятнику и его окрестил, среди бела дня, без слов и лишних споров, на глазах сидящих там и попивающих пиво людей. Написал, что хотел, и пошел домой. Никто никогда не узнал, что Гизмо имел в виду: хотел ли передать свое духосостояние или просто намалевал первое слово, пришедшее в голову. С того времени ходили не к памятнику, а к Психозу.

Дарья хватает меня за руку и уже не отпускает ее, а когда делает это, я чувствую сильный, резкий удар сердца и давлось, словно мне кто-то сунул два пальца в глотку.

На этот раз на Психозе нет никого, под ногами скрипят осколки битых бутылок, крышки, целлофан от сигарет. Если не обращать внимания на мусорный ковер, ночь настолько классная, что аж терпкая. Мы садимся на лавку, сперва рядом, но уже через несколько секунд она садится на меня верхом, и я тогда чувствую, что она вся состоит из тепла, что она как охапка шерстяных одеял.

(Уже навсегда она будет вспоминаться мне как нечто разогретое и теплое.)

Она сует язык мне в рот, и по сей день я помню, как она пахнет и какова на вкус. Немного пота, немного порошкового молока и немного крема «Нивея», чуть дезодоранта, а чуть сигарет и пива. Целуя ее, я отчаянно пытаюсь познать

и ее тело, мягкое и белое. Ладони мои легко погружаются в нее, ее несколько больше, чем я ожидал, она похожа на сырое тесто. Ее волосы покрывают меня всего, лезут мне в нос, в глаза, в рот. Целуется она так, словно хочет меня съесть. Ей не мешает то, что я, пожалуй, целоваться не умею.

Дарья двигается так резко и дышит так быстро, что я начинаю вспоминать, что еще не спал с девушкой. Миг-другой я даже хочу ей об этом сказать. Знаешь, Дарья, я еще ни с кем не спал. Но сейчас же себя одергиваю – это глупая мысль, ей ведь до этого не может быть никакого дела, она наверняка не собирается делать это здесь и сейчас, на Психозе, среди крышек, окурков, луж мочи, стеклянных обломков.

– Я тебя хочу, – говорит она и смотрит мне в глаза.

И я уже собирался ей сказать: о'кей, ладно, конечно, почему нет, Дарья, это же и моя сильнейшая мечта, но Дарья вдруг подпрыгивает от звука собственных слов.

– Сука, Аська! – выкрикивает она и сразу закрывает себе рот ладошкой.

– Что – «Аська»? – Я пытаюсь делать вид, что не понимаю, о чем она. В зарослях за нами слышны шаги и голоса. Я слышу их мимоходом, не думаю о них.

– Я не могу с ней такого сделать, это полная хуйня, она в тебя так влюблена, – говорит она.

– И я должен ходить с ней, чтобы ей не было обидно? – спрашиваю, и тогда Дарья слезает с меня и садится рядом, и я вижу в темноте, как она смотрит прямо перед собой, прямо

в надпись «ПСИХОЗ», видную даже в глубочайшей тьме, а может – и куда-то за надпись, в неопределенное, но близкое будущее.

Она закуривает сигарету. Я тоже. Кашляю, все еще не умею этого делать.

– Она охуительная девушка, – она отворачивается. – Никто не хочет с ней даже поговорить. А она – действительно супер. Это очень несправедливо, – говорит Дарья таким тоном, что я и правда пытаюсь не подпустить к себе мысль, что, возможно, она, пусть и невероятно расчудесная и молочно-белая, тоже немного глупая.

– Жизнь – вообще несправедлива, – говорю я первое, что приходит мне в голову.

Снова слышу шаги, хруст, тихое сплевывание, словно кто-то плывет в бассейне, полном целлофановых оберток, все ближе, все четче; кто-то идет в сторону Психоза. Из того, что этот кто-то говорит, можно различить только слово «сука». И чихание. Дарья еще не слышит, не обращает внимания, но я – напротив; и знаю, что шелесты, сплевывания и чихание не обещают ничего хорошего; хочу взять ее за руку, сказать: «пошли» или даже ничего не говорить, а просто встать, но я уверен, что она подумает, будто я струсил.

– Если мы, ну, знаешь, то она и правда сломается, – говорит она чуть тише. Курит совсем иначе, чем я, и совсем иначе, чем Аська. Не глотает дым, а лишь неглубоко затягивается, выпуская в воздух большие, белые облачка, похожие

на цветы.

И тогда я понимаю, что должен удержать ее около себя, что у меня на это всего несколько секунд, прежде чем Дарья провалится в мысли об Аське, прежде чем убедит себя, что сумеет сохранить отношения со своей суперлучшей подружкой; естественно, ей нужно еще время, чтобы это понять, но это время будет куда как коротким.

(Я чувствую, какой жесткий и болезненный у меня стояк.)

И понимаю еще, что еще десяток-другой минут назад ее не было (белой и теплой), но сейчас она есть, и с ней мне куда лучше, чем раньше, а когда она снова исчезнет, станет хуже, куда хуже, чем раньше. Будет хуже и завтра утром. Еще хуже будет в понедельник в школьном коридоре. Если сейчас она исчезнет, то будет там, где и я, как в той уродливой песне из радио в машине моего отца, она будет во всем, о чем я стану думать, а на самом деле ее не будет вовсе. Я понимаю, что проведу месяцы, придумывая сотню других сценариев обо мне и о Дарье, подкладывая под эти сценарии все песни Smashing Pumpkins и Cocteau Twins, и эти размышления будут как переваривание наждачки.

– Дарья, – говорю я тихо, а она поворачивается, удивленно, словно я ей напомнил, как ее зовут на самом деле. – Знаешь, я всегда тебя любил.

Кладу руку ей на спину и чувствую, как она слегка напрягается.

И тогда из-за деревьев, из-за надписи «ПСИХОЗ», слы-

шится крик, короткий и громкий, рваный, словно кто-то всего на миг включил радио, по которому день напролет транслируют вопли; этот короткий вопль на миг взрывается позади нас, чтобы раздаться еще и еще раз, формируясь в слова:

– Перестань, Кафель, перестань, сука! – кричит девушка Кафеля.

– Я принесу тебя в жертву, ебаная ты сука. Принесу тебя в жертву, – Кафель тянет свою девушку по

земле за волосы и бросает ее рядом с Психозом. В своей базарной униформе он выглядит как переодетый человеком обезумевший троглодит. Рукав у него надорван – а во дворе замка был еще целым. Кафель громко дышит. Он под кайфом. В уголках губ проступает пена. Она белее его зубов.

– Сука, в жертву тебя принесу за это все. Вот увидишь. Вырежу тебе сердце, – хрипит он, и немного пены изо рта падает на лицо девушки, которая корчится под его ногами.

Кафель еще не видит нас, но я вижу его совершенно отчетливо и очень его боюсь. Вижу словно кадр из фильма. Думаю, что у страха есть свой вкус, это вкус ржавчины, старой крови, а Дарья снова хватает меня за руку. Я хочу сказать, чтобы мы уходили. Я встаю, притягиваю ее к себе, и тогда Кафель поворачивается и смотрит на нас взглядом человека, которого только что крепко ударили по голове.

– Чё, сука? – спрашивает он. Его девушка плачет, шмыгает носом. Кафель сует руку в карман штанов и что-то вынимает. Нож-бабочка взблескивает в темноте, как вспышка.

Я прижимаю к себе Дарью, которая еще теплее, чем раньше, и сильно дрожит.

– Чё, сука, ты, чувырло? – спрашивает меня Кафель.

Я не отвечаю.

– Сунуть тебе перо? – спрашивает он, словно предлагает мне глоток пива.

Подходит на пару шагов. Его девушка встает с земли. Держится за голову, чуть покачивается, всматривается, словно пытается устоять на плывущей лодке.

– Сунуть тебе перо, чувырло? – повторяет Кафель.

Я раздумываю, хочет ли Кафель сейчас доказать кому-то, что сумел бы подрезать человека. Нож снова взблескивает в темноте, словно подмигивает мне.

– Нет, – отвечаю я, выдержав паузу.

– Нет, – кивает Кафель и добавляет: – Принесу тебя в жертву, сука. Сатане. И тебя тоже. Принесу в жертву всех вас.

Дарья, кажется, начинает плакать. Кажется, потому что там, куда она вжимает лицо, кроме тепла я начинаю чувствовать что-то мокрое.

– Отрежу ей дырку. Морду ей сожгу, – показывает на Дарью.

Со страха у меня начинает болеть все тело.

– Отвянь от нас, мы уходим, – говорю я, а, собственно, говорит это некто другой, некто, кого я когда-то проглотил и о ком давно позабыл.

Я готов к тому, что сейчас все закончится, что нас запомнят как первых жертв обезумевшего Кафеля, который, когда уже нас порежет, вернется в замок, смешается со стоящей под «Вратами» толпой и продолжит резать, кричать и исходить пеной, вырежет половину Зыборка, выкрикивая свои проклятия и ругательства, и в конце-концов его застрелит присланный из Ольштына отряд полиции.

И тогда позади нас слышен голос, еще один голос, который я даже мог бы приписать какому-то лицу:

– Кафель, сука! Куда ты полез?

– Он тут! Успокойте его! Успокойте его, а то он с катушек совсем съехал! Порчик! Порчик, иди сюда, успокой его! – кричит девушка Кафеля, а я тогда хватаю Дарью за руку, сильно, за скользкую от пота холодную руку, и мы идем в темноту, сквозь парк, вперед, быстро, очень, Дарья спотыкается, но сразу восстанавливает равновесие; в последний миг мы минуем деревья и наконец выходим на улицу недалеко от брошенной евангелистской церкви, недалеко от ратушной площади.

– Все нормально, – говорю я Дарье.

Мы рядом со вторым зыборским местом встреч, то есть рядом с озерком в парке. Мы все еще можем пойти туда, усесться на лавке, начать целоваться снова. Я смотрю на нее. Мы тяжело, быстро дышим. Она смотрит на меня, но уже не улыбается; смотрит на меня, словно требует какого-то ответа.

– Я провожу тебя домой, – говорю я ей, а она прижимается ко мне еще сильнее.

– Я не хочу домой, – говорит она.

– О'кей, – отвечаю я.

– Пойдем куда-нибудь, – добавляет она.

– О'кей, – говорю я. Я был тогда счастлив. Все становится как в тумане, в сепии, словно смотришь сквозь стекло, делается глухим, смазанным, но несмотря на это – несомненно сущим.

Фраза из той песни, которую здесь знают все: «Машина резко повернула, хоть были выключены фары» – пульсирует у меня в затылке.

– Там, на лавке, ты шутил или нет? – спрашивает Дарья, и в вопросе ее та разновидность решительности, с которой я сталкиваюсь впервые в жизни.

Чувствую себя в самом центре жизни и в самом центре сна одновременно.

В течение следующих лет я буду принимать немало наркотиков исключительно для того, чтобы вернуть это ощущение, хотя бы на миг.

Я закрываю глаза, на губах моих мыло, молоко, желчь, соль, ржавчина.

Миколай / Передняя дверь

В моих воспоминаниях маме нет еще и сорока.

Когда она ушла – была старше. Когда уходила, выглядела еще старше, чем была на самом деле. Но в моей памяти она выглядит здоровой, у нее блестящая кожа, она жалуется, что толстеет. Это правда, мама становится все больше. Но ни я, ни Гжесь не говорим ей об этом. Длинные светлые волосы она закалывает в круглый кок. Носит цветную одежду, часто некрасивую и с рынка, любит поддельные индийские платки и широкие юбки. Из-за этого выглядит как чуть поблекшая радуга. У нее ничего не подходит одно к другому, а она еще усиливает эффект сотнями цепочек, бус, колец. Не любит рассказывать шутки и не любит, когда их рассказывает кто-то другой. На видео у нее записаны серии «Отеля Фолти-Тауэрс» и «Кабаре Ольги Липинской», она смотрит их и смеется навзрыд. Порой плачет, но тогда всегда отворачивается.

Мой отец часто орет. Тогда моя мать говорит с ним тихо, так, чтобы только он это слышал. Отец ничего не отвечает. Некоторое время просто смотрит на нее. Потом снова принимается вопить, вопит минуту, две, три, потом перестает. Мама гипнотизирует его, словно кобра, гнев его впитывается в маму, остается в ней. Отец, лишенный гнева, выглядит странно, он немного дезориентирован, словно тот хро-

мой чувак, который получил в подарок от призрака на кладбище еще и горб в придачу.

Когда мама поглотит гнев отца, примет тот в себя, она какое-то время даже двигается иначе, ходит медленнее. Порой ей приходится на время присесть. Тогда она ставит перед собой чай и медленно пьет его маленькими глоточками: прежде чем допьет половину, чай уже совершенно холодный; отец шумит где-то в доме, в подвале, на чердаке, стучит, что-то бросает, бьет, пинает; мама старается его не слышать, включает «Отель Фолти-Тауэрс» или «Кабаре Ольги Липинской», делает громче.

Мама суровая и сильная. Никогда не кричит, говорит, что большие собаки не лают. Не пьет и не курит, ненавидит это, иной раз, когда отец курит одну сигарету за другой, выходит из дому.

Мама – следит за гигиеной в зыборских школах, в том числе и в той, куда ходим мы. Каждое утро проверяет нашу чистоту. Смотрит нам в уши и на ногти. Говорит, что грязь – самое стыдное дело. А потом делает это снова, в школе, проверяя всех детей.

Хуже всего вечера, когда мать запирает нас обоих в комнате Гжеся. В двери комнаты коричневое толстое стекло с узорами. Сквозь него видны только свет и тьма. И фигура того, кто стоит за дверью. Но только когда он встанет прямо перед ней. Гжесь хочет выбить стекло, но я держу его за руку, сильно, говорю, чтобы он этого не делал. Ничего не видно,

но все слышно. Отец говорит громко, мама молчит. Шум, тарарам, отец что-то бросает, убью его, говорит Гжесь, никого не убьешь, тебе десять, я хватаю его за руку и прижимаю к себе, чтобы он остался в комнате. Мама справится. Я знаю. Доверяю ей.

Потный и тяжело дышащий Гжесь дергается подо мной, словно его бьет током.

Ночью, когда я проснусь, мама будет сидеть с включенным телевизором, тихо, даже не повернется в мою сторону, будет пить чай небольшими глоточками и скажет только, что все нормально и что я должен идти в свою комнату. Во всем доме стоит сладкий и тошнотворный запах обоссанных простыней, блевотины, спирта.

Нынче же дом моего брата пахнет свежей краской.

– Это Алекс и Болек, – говорит Гжесь, глядя на меня, замечая, что я принохиваюсь, что ощущаю этот запах.

Юстина смотрит на него вопросительно.

– Крысы. Крысы моих детишек. Ссут во все щели, едва только выйдут из клеток. Но что ж, я люблю этих крыс, – пожимает он плечами.

Дом моего брата выглядит так, словно утром в него наведальсь ЦБР¹³. Пластиковые китайские игрушки лежат разбросанными по всему полу в зале, соединенном с кухней, выдавшая виды игровая консоль «Плей-стейшн» с выходом

¹³ Центральное бюро расследований, структура в польской полиции, борющаяся с организованной преступностью.

картриджа там, где должно быть отверстие для диска CD, выдавший виды планшет, который выглядит как планшет, но единственное, что может делать – наигрывать раздражающие мелодии, погремушки, пластиковые и цветные предметы посуды, сковородки, кастрюли и грабли, кубики и разукрашки. Плюс одежда, рабочая и повседневная, стиранная вперемешку с грязной, детская – со взрослой, летняя – с зимней.

Я не слишком хороший отец. Не умею играть с детьми, я вообще не умею играть с ними, они заставляют меня нервничать: никогда не понимаю, что они сделают, что ответят. Я не стал крестным отцом старшего, Бориса, хотел, но не сумел решить церковные формальности, при мысли об исповеди меня просто парализовало. Не знаю, обижается ли за это на меня Гжесь. Отец – тот наверняка.

В любом случае, они славные детишки. Из того, что помню, выглядят как два маленьких Гжеся. Как и он, пинают и толкают все вокруг, еще и веселясь от этого.

– Если бы они любили змей и тарантулов, у меня были бы змеи и тарантулы. Что поделать? Вот будет у тебя свой, сам увидишь. Ты бы себе и руки на хрен поотрывал, – говорит он, бесцельно ходя вдоль и поперек по этому бардаку, словно пытаясь зачаровать его одним только хождением.

На кухне громоздятся пакеты молока, хлопьев, моющих средств, хлеба, масла, колбасы – все вынута и разложено на деревянном столе, словно брат размораживал холодильник. Рядом с телевизором в углу комнаты лежит стопка филь-

мов на DVD. Много вестернов и приключенческих из 80-х, «Кобра», «Рокки», «Клетка», «Коммандо», плюс множество сказок. Несколько книг, Сергиуш Пясецкий¹⁴, Генрик Сенкевич, биография Guns N'Roses. «Guns N'Roses, – думаю я, – была бандой селюков, но когда-то они очень нам нравились и мы прикидывали, что было бы, приедь они в Зыборк. Узнал бы их кто, или они просто получили бы по башке, например от Мацюся и его друзей».

– Хороший стол, – говорит Юстина. – Сам резал?

– Я все делал сам, – улыбается Гжесь. – Все сам построил.

– А кто проектировал? – спрашивает она.

– Проектировал... ну, я, – пожимает он плечами. – Как увидел, что тот архитектор накарябал, то въебал ему в лоб и нарисовал все сам.

– Сам? – спрашивает Юстина немного иронично, а немного с подозрением.

– Есть вещи, которые может делать каждый, если только немного соберется, – отвечает Гжесь.

Между вещами и игрушками на полу лежало фото в рамке: мое, Гжеся и мамы. Мама выглядела примерно такой, какой я ее помню, вот только волосы ее – как ни странно – распущены. Гжесек улыбается, он щербатый, на нем футболка с Бэтменом. Я смотрю куда-то в сторону, не знаю, на что

¹⁴ С. Пясецкий (1901–1964) – польский писатель с белорусскими корнями; писал как сатирические, так и приключенческие романы; последние были основаны на его опыте контрабандиста и бойца Армии Крайовой.

именно, рот у меня приоткрыт, и выгляжу я как умственно отсталый. Мама смотрит в объектив молча. Улыбается, но я знаю, что она тогда была печальной.

– Наверное, детишки сбросили, – говорит Гжесь, когда видит, что я взял фото в руки. – Ну, сука, я тут и до праздников порядок не наведу.

Юстина пьет воду и курит, стряхивая пепел в поставленную на стул банку. Та полна пепла и окурков.

Сквозь большое стеклянное окно веранды я вижу, как под воротами останавливается машина отца. Синий пикап «ниссан» 1986 года, 4 × 4. Он купил его недавно, но я не помню, когда именно. Сзади паркуется еще одна, тоже зеленая, большая машина.

– Генерал приехал, – Гжесь улыбается.

– Наверное, бензин жрет, – говорю я о машине, надо сказать хоть что-то.

– Как F-16, – отвечает Гжесь.

Стекла машины затемнены. Некоторое время из нее никто не выходит. Оба авто кажутся приехавшими сюда сами по себе.

В моей памяти мама чаще всего без выражения на лице. То, что она чувствует по-настоящему, видно только в ее глазах. Помню, как отец сидит за столом, заставленным человеком на тридцать. На столе куча пустых бутылок, грязных тарелок, мисок, салатниц, конфетниц и селедочниц. Кажется, это Рождество или миропомазание Гжеся.

Помню, отец спит: сидя, и только что-то заставляет его слегка раскачиваться вперед-назад, будто кто-то, стоя за его спиной, чуть напирает на стул. За столом сидит с десяток человек; все делают вид, что не обращают на это внимания. Помню, как отец встает и замирает уродливой статуей: какое-то мгновение так и спит стоя, а потом тянет скатерть, что лежит подо всей этой посудой, тарелками, мисками, салатницами, конфетницами и селедочницами, тянет сильно, сбрасывает вместе со скатертью и то, что на скатерти, на пол, подняв невероятный шум, словно сто окон выбили одновременно; стекло, посуда, остатки еды падают на него, рядом с ним, по всему ковру, все вскакивают, отпрыгивают, мама тоже, не меняя выражения лица, а отец прикрывается этой грязной скатертью как одеялом и укладывается спать среди битого стекла, пятен пролившихся в ковер водки, оранжада и кофе, остатков утки, цыпленка, салата, следов от жирной подливки. Я помню, как мама стоит над ним и смотрит: таким взглядом окидывают спящих в трамвае бездомных.

– Сукин сын, – шипит сквозь зубы моя мать, и это единственный раз, когда я слышу от нее ругательство.

Отец будет спать долго и крепко, словно ребенок; шесть часов мать с помощью двух теток наводят порядок и смывают всю грязь, а он продолжает спать.

Я откладываю снимок назад туда, где он и был.

– Мог бы и мне дать попить, – говорю Гжесю.

– Налей себе, – он тычет куда-то на стол в кухне. Непо-

далеку от того места, куда он указывает, стоит почти пустая бутылка минеральной воды.

Если коротко – все закончилось тем, что, когда стало ясно, что мама не выздоровеет, отец перестал пить, продал машину и вставил себе зубы. Не пьет до сих пор.

– Сука, Алекс, – говорит мой брат и подпрыгивает, когда черный небольшой зверек проскакивает у него под ногами.

Я вижу, как отец выходит из машины и идет в сторону двери, без удивления глядя на мою машину – словно проверяя, не пробили ли ей шины. Из второй машины вылезает мужик в куртке моро. Они недолго разговаривают. Мужик слушает, что говорит отец, кивает, подает ему руку. Они стоят, сцепленные этим жестом, две, три секунды. Наконец мужик садится в свою машину и уезжает. Отец остается в одиночестве, идет к калитке.

– Это Брачак. Лесничий. Революционеры, чтоб их, – мой брат смеется.

– Революционеры? – спрашиваю я.

– Ну, ага. Зыборские революционеры. Бернат был третьим, но свалил к любовнице, – говорит Гжесь.

Отец идет как всегда, чуть покачивая плечами, медленно и внимательно, словно пытаюсь удержать равновесие на шпале, но и мощно, словно с каждым шагом желает что-то растоптать. На нем кожаная куртка, военные штаны, черные кроссовки. Он всегда так одевается. На носу коррекционные очки, которые он носит вот уже несколько лет. Наголо бри-

тый череп кажется вынутым из реки, выглаженным волнами камнем. В руке он держит полотняную сумку, из которой торчит хлеб.

– Тут! Они тут! – кричит Гжесь и выходит из дома, а отец поворачивается к нему.

– Они тут! – повторяет Гжесь. Отец кивает.

– Если они здесь, то пусть приходят, – говорит и открывает дверь, и только когда делает это, словно по сигналу из машины выходит Агата, вторая жена моего отца, а я выхожу из дома Гжесья и поднимаю руку, вроде как здороваясь, а вроде как сдаваясь.

Юстина встает за мной. Не поднимает руку. Как и Агата. Никто ничего не говорит. Пес поднимается. Взлаивает, отец тычет в него пальцем, пес перестает лаять.

– Пойдемте, – говорит отец, ставя сумку с хлебом на землю и открывая дверь.

– Я останусь, – отвечает Гжесь. – Сейчас приду.

– Ты тоже иди, – говорит мой отец.

– Я останусь, – повторяет Гжесь. – Нужно прибраться.

Юстина входит в дом первой. Отец стоит в дверях, снимает обувь. Юстина протягивает ему руку.

– Не через порог, а то поссоримся, – говорит он Юстине.

В доме пахнет чистотой, но еще чем-то мягким, сладким и старым. Стены недавно покрашены в темно-желтый цвет. В последний раз, когда я приезжал, они были темно-зелеными.

Юстина переступает порог, входит внутрь, в прихожую;

прямо, за двойными застекленными дверьми, вход в зал; направо – кухня. Налево – лестница вверх, а рядом, все еще белые и все еще поцарапанные, двери, за которыми вход в подвал. Все как всегда, но одно – совершенно по-другому. На втором этаже – комнаты, спальня, некогда родителей, а теперь отца и Агаты, бывшая моя, теперь Йоаси, моей сводной сестры, бывшая Гжеся – теперь Янека, брата-близнеца Йоаси.

В доме, где меня воспитали, теперь живет совсем другая семья, вот только этой новой семьей тоже управляет мой отец. «Это смешно, – думаю я. – Как арабский ситком».

Некоторое время мы стоим в этом коридоре, без слов, словно перепуганные.

– Ну, привет, Юстина. Привет, любимые. Хорошо, что вы приехали, – говорит Агата.

У второй жены отца светло-русые волосы цвета теплого сена, похожие на волосы моей матери, только что собранные в хвост. Она переняла у отца немало жестов, например это угловатое протягивание руки, когда здоровается, словно вместо суставов у нее старые пружины; неотрывный взгляд в глаза; постоянные еле заметные кивки в знак того, что она слушает своего собеседника.

Мой отец – словно стена, в которую непрерывно бьются головой. Когда я смотрю на него, у меня все болит. Он стоит в углу, в темноте, но в нем метра четыре роста.

– Плохо выглядишь, – говорит он Юстине. Он первый, ко-

гда кому-то нужно сказать, что тот плохо выглядит. Молча смотрит на нее. Жует жвачку. С того времени, как вместе с питьем бросил и курение, он непрерывно жует жвачку. При этом стоит словно по стойке «смирно». Я не помню, чтобы он когда-либо горбился.

– Знаю, – отвечает она.

– Плохо выглядишь, нужно тебя вылечить, – добавляет отец.

– Да как-то вылечусь, – отвечает Юстина.

– Ну тогда иди лечиться. Все наверху у вас приготовлено, – говорит мой отец.

– Нужно перенести вещи, – замечаю я.

– Гжесек вам поможет, Гжесек принесет, – говорит отец.

– А сейчас мы вместе пообедаем, – вмешивается Агата. –

Будет суп, какие-нибудь блинчики, ничего серьезного.

– Мы очень устали. Пойдем, наверное, отдохнуть, – отзывается Юстина.

– Ну, я и говорю, ступайте отдохнуть, – говорит мой отец.

– Все готово, – добавляет Агата.

Мы все чувствуем себя неловко, за исключением отца. Он раздражен, что мы не сразу реагируем на его приказы.

– Я сейчас еду в пекарню, буду через два часа, – говорит отец.

– Ты же был уже сегодня, – замечает Агата.

– Проблемы с печью. Они и техника сами заказать не могут, монголы.

– Никто никогда без тебя ничего не делает, – отвечает Агата, но отец, кажется, этого не слышит, поскольку слова ее звучат тихо.

Когда я жил здесь, на самом верху был просто чердак. Грязный, заставленный одеждой в картонных коробках, привезенной из Германии дядьками, испорченными игрушками, старым оборудованием, которое оказывалось на чердаке вместе с очередными поездками моего отца на завод под Франкфуртом. Не знаю, что этот завод производил, но когда отец протрезвел, то открыл пекарню и поездки уже не возобновлялись. Стиральная машинка «Вятка», холодильник «Шрон», телевизор «Рубин» по очереди отправлялись на чердак, когда отец привозил домой их новые, обложенные пенопластом, польские или японские заменители. Когда я был ребенком, мы с Гжесем часто сидели на чердаке или в большей компании, с нашими кузинами, и представляли себе, что это наш собственный дом, наша собственная комната, что снаружи – война, мир после атомной войны из «Фоллаута», в который мы тогда постоянно играли на компьютере. Снаружи только пыль и песок, трехголовые коровы и зомби-шлюхи со слезающей кожей, окрестности патрулируют войска вооруженных лазерами мутантов, а мы, самое большее, можем ждать, что будет дальше, сидя между ржавым холодильником, влажными картонными ящиками, полными шмоток, и кожаным чемоданчиком, в котором – неясного происхождения немецкие книжки. Однажды мы их вы-

нули и внизу обнаружили стопку «Кэтс», из которых узнали, как выглядит киска, вставленный в нее хрен и сперма на удивленном женском лице.

Потом отец отремонтировал чердак и куда-то вынес все стиральные машинки, шмотки и журналы со спермой. Этот отремонтированный чердак он хотел сдавать людям, которые должны были приехать на большой заграничный завод, выпускающий каркасную мебель. Но предприятие так и не построили, а отец остался с чердаком, ставшим теперь еще одним этажом дома, с двумя комнатками и небольшой душевой.

В некотором смысле мы, приехав сюда, избавили его от проблем.

Теперь чердак выглядит как что-то из дешевого «зеленого туризма». Стены бледно-морелевые, на окнах висят фисташковые занавески. Кровать ровно застелена, прикрыта покрывалом в коричневые цветочки. Внутри все обезличенно, если не считать того, что в одинокой, стоящей на столике вазе торчит перевязанная цветной ниткой композиция из сухих стеблей. На подоконнике стоит еще один снимок, вроде того, который у Гжеся в доме; Гжесь улыбается, у меня – лицо удивленного миром дурачка, и только вместо матери тут отец, который смотрит в объектив так, словно хотел бы силой воли его испортить или отремонтировать.

Я сажусь на край постели: уставший, без сил, больной, с ноющими мышцами. Чувствую, как у меня все ноет: мыш-

цы, кости, хребет, горло. Чувствую себя так, будто проехал три тысячи километров, хотя проехал всего двести. У меня болят мышцы даже там, где их наверняка и нету.

Юстина, сопя, с трудом снимает куртку и свитер, как доспех после боя. Отбрасывает их в угол. Молча выключает телефон. Становится в центре комнаты. Осматривается, словно что-то ищет. Например, дорогу к бегству. Спрашивает:

– Как твой отец с ней познакомился? С Агатой?

– Она была дочкой коллеги моей матери, – отвечаю я.

– Правда?

– Нет, не правда, Юстина, я все выдумываю, – качаю я головой.

– Слушай, не веди себя по-хамски, – говорит она и наконец придвигает себе стоящий подле письменного стола стул. – Посмотри на все это, увидь, где мы нынче. Посмотри на это и не веди себя по-хамски, потому что это не гут.

– Она часто бывала у нас дома, давно, когда мы были детьми, – говорю я. – Моя мать вытащила ее из каких-то проблем. Агата пыталась покончить жизнь, пила какие-то лекарства, я не знаю точно, в чем там было дело.

– И твой отец потом на ней женился? – спрашивает она.

– Через пару лет после смерти матери, – отвечаю я согласно с истиной. Это, кажется, был мой двадцать третий или двадцать четвертый день рождения.

Встаю с постели, подхожу к ней. Беру ее за плечи. Заставляю встать.

– Я обещал тебе, что это не затянется. Я обещал тебе, что это – на какое-то время. Что мы все исправим, – я смотрю ей в глаза.

– Что ты сделаешь? – спрашивает она.

– Два, максимум три месяца. Два, максимум три – и сваливаем отсюда. Все равно куда. Но сделаем это, – уверяю ее.

– Я тебе не верю, – говорит она.

– Я тебе тоже не верю, – отвечаю я.

Она прижимается ко мне и начинает тихонько плакать. Я глажу ее по волосам. Люблю ее. Не знаю, любит ли она меня. Я ее – люблю. Точно. Не могу перестать,неважно, что бы она ни сделала.

– Я люблю тебя, – говорю ей наконец.

– Прости, – отвечает она.

– Я тоже прошу прощения.

– Мы не сумели.

– Сумеем.

– Но не можем, – напоминает она.

– Но сумеем.

– За что ты меня любишь? – спрашивает она.

– А ты меня? – отвечаю я вопросом.

– За то, что ты добрый, словно ребенок, – отвечает Юстина, шмыгает носом, вся в слезах. Мы находимся в чужом городе. Абсолютно одни.

– Не плач, Сабина. Не люблю, когда мои поросята плачут, – иной раз я притворяюсь разными персонажами, на-

пример дрессировщиками, или полицейскими, или князьями. Она притворяется, что ее это веселит. Знаю, что я это делаю плохо. – Сабина, та ну нахуй, засопливишь мне одежду! – порываю на нее.

Она тихо смеется, я не слышу этого, но чувствую, ее смех щекочет меня.

– Ты должен дать мне на ногти. Какие у меня ногти, а? – показывает ногти, покрытые исцарапанным красным лаком.

– Ага. Дам тебе. Дам, только успокойся. Пойди сделай мне куриное филе. С рисом. С рисом и яичным белком. Вали, Ангела, – говорю я громко и хватаю ее за задницу.

– Ты даже не помнишь, как меня зовут. Обещай мне еще кое-что, – говорит она, целуя меня в шею.

– Обещаю тебе кое-что.

– Обещай, что мы не разведемся, – говорит она и прижимается ко мне, притягивает с силой, чтобы я лег рядом.

– Если бы мы должны были развестись, мы бы уже развелись, – отвечаю я.

Мы ложимся на постели, она снова притягивает меня к себе. Прижимает, словно я намереваюсь куда-то сбежать. До боли.

– Из-за всего этого, – добавляю я.

Чувствую, как колотится чье-то сердце, не знаю, мое или ее.

На миг еще вижу улыбающегося чувака из Португалии, который смотрит, как другие чуваки вносят в нашу квартиру

его пианино. Я тогда думал, что он привез пианино из Португалии, и думал, что пианино было бы неплохим началом в списке предметов, о владении которыми я никогда не думал.

Помню, как отец выбивает кулаком стекло в двери зала, везде кровь, и отец громко кричит, и приходят Малиновские, и старый Ниский, тоже пьяный, но не так, как он, и забирают его в «скорую».

Все те окровавленные одежды, которыми мать останавливала кровотечение, были в барабане стиральной машинки «Вятка» на чердаке. Никто их никогда оттуда не вынимал. До ликвидации чердака, до времени ремонта. Отец выбросил их вместе с машинкой.

И я помню, как Юстина пришла две недели назад домой. Села на диване, том самом, за который я все еще торчу денег моей приятельнице Юлии, посмотрела на белую стену перед собой, потом закрыла глаза, глубоко вздыхая, и даже могла не говорить то, что сказала, потому что я и так знал, что она сейчас скажет:

– Я изменила тебе, Миколай, – и спросила через секунду: – Что теперь?

Сейчас же она ничего не спрашивает, только прижимается ко мне. Переворачивает меня на спину. Сует мне руку в штаны. Спрашивает:

– Поласкать тебя?

Я смотрю ей в глаза. Не знаю, что в них вижу. Перестал это знать две недели назад.

Мне нужно проговорить все еще раз, еще раз разыграть тот разговор. Так произносятся заклинания, по кругу, пока не подействуют. Но я все равно буду молчать, рассчитывая, что однажды, в конце концов, обо всем забуду. Или, по крайней мере, перестану представлять себе это каждые несколько минут.

– Ну конечно, – говорит она, словно читая мои мысли, и расстегивает мою ширинку.

* * *

– Ешь, – говорит мне отец.

– Что, тебе невкусно? – спрашивает Агата.

– Ешь, – повторяет он.

– Да отстаньте от нее, – вмешивается Гжесь.

– Ешь, – говорит отец.

– Я не голодна, – отвечает Йоаса.

– Очень вкусно, правда, – говорит Юстина.

– На самом деле она классная девочка. Только вот есть не хочет, – говорит отец.

Моей сводной сестре Йоасе – тринадцать, у нее длинные соломенные и прямые волосы, как у ее матери, бледная кожа, ноги и руки как палочки. Она то и дело поглядывает в сторону камина, на котором лежит ее телефон. Отец приказал ей отложить его на время еды. На телефон раз за разом приходят сообщения, с каждым из них экран озаряет блед-

ный свет, а с каждым отблеском Йоася чуть подпрыгивает на стуле, словно кто-то стоит у нее за спиной и тычет ей в спину иглой. Отец, прежде чем отдаст мобильник, проверит, кто ей пишет.

– Это превращает людей в макак, – мой отец кивает в сторону бликующего телефона. – Тебе кажется, что ты делаешь небывало важные вещи, а на самом деле лишь стучишь в него пальцем, словно макака в кубик.

Рядом с Йоасей сидит ее брат-близнец Янек. Он немного похож на свою мать, а немного – на свою сестру. Я подмигиваю ему, а парень отворачивается, словно уклоняясь. С ртом, полным курятины, отворачивается в сторону включенного телевизора, словно желая проверить, не стоит ли кто там. Когда его сестра подпрыгивает одновременно со вспышками телефона, Янек каждый раз чуть от нее отодвигается.

– Ты больная? Плохо себя чувствуешь? – спрашивает Агата.

– Я ничуть не больная, – отвечает Йоася.

– Не болтай, ешь, – говорит мой отец.

– Женские дела? – спрашивает Агата.

– Девчоночьи разве что, до женских там далековато, – кивает отец.

Стол широкий, за ним поместился бы и десяток человек; кроме стола в зале есть еще массивный камин, большой плазменный телевизор с декодером цифрового «Полсата», мощный деревянный буфет с украшениями. Другое новшество

– большая, вставленная в раму репродукция карты Зыборка семнадцатого века. Свадебный снимок моего отца и Агаты стоит на камине, оправленный в простую пластиковую рамку.

В зале царит полумрак, верхний свет выключен, горит только большая лампа с красным абажуром в углу комнаты и две поменьше, на стенах литые светильники. Комната выглядит как арсенал. Наполнена тенями, которые при каждом движении изгибаются по стенам, скрещиваются, танцуют.

За окнами царит тьма, сейчас вроде бы семь вечера, но кажется, что – середина ночи.

У меня все болит. Вместо хребта сквозь тело идет жесткий металлический прут. Мышцы забиты и тверды, словно кто-то меня засолил и завялил. Мы занимались любовью быстро и тихо, прикрывая друг другу рты ладонями, а секундой позже я заснул примерно на час, а когда проснулся, некоторое время думал, что мы снова в нашей квартире в Варшаве и что все в порядке. И только потом услышал звуки снизу, чужой голос, глухой стук обуви в пол, скрип ступеней.

Я сижу рядом с Юстиной, напротив отца. Передо мной на столе еда: суп, котлеты, салаты, кувшины с компотом. Обед на три-четыре блюда. Даже не представляю себе, чтобы мы с Юстиной когда-либо готовили столько еды.

Отец ест медленно, размеренными движениями, словно машина.

– Что там? – спрашивает Агата, хотя, как по мне, отец

не выглядит переживающим. Выглядит как обычно. У него суровое, лишенное выражения лицо. Маленькие, прищуренные глаза. Гладкая кожа на черепе блестит, словно намазанная.

– Отец думает о Бернате. Переживает, – отвечает за него Гжесь.

– Бернат? А что с ним? – спрашиваю я.

– Я тебе говорил. Свалил с бабой, – отвечает после пары секунд молчания Гжесь.

Услышав «Бернат», я сперва вспоминаю его сына, Марка, моего примерно возраста.

Когда мы были в лицее, я его ненавидел. Он был глупым, толстым, сдвинутым на деньгах отца придурком. Теперь я не знаю, кто он. Кажется, живет в Англии.

Но понимаю, что речь не о Марке, а о старом Бернате.

– Как это – «свалил»? Его нет в Зыборке? – спрашиваю я – немного ради интереса, а немного затем, чтобы убить тишину, которая наполняет очередные перерывы между нашими фразами и становится настолько густой, что начинает гудеть.

– Эва в отчаянье, – говорит Агата. – Он оставил ей дом, все, взял какие-то деньги из отложенных и выехал с секретаршей. Неизвестно куда. С молодой никогда не выиграешь, увы, но мужики все такие, верно? – добавляет, не пойми отчего глядя на Юстину, которая не знает, что сделать; охотней всего отвернулась бы, но знает, что так нельзя.

– Это какой-то ваш знакомый? – спрашивает Юстина.

– Это лучший друг отца, – отвечаю я ей.

– Когда-то даже мой соратник, – добавляет отец.

Бернат был его приятелем еще со времен техникума. Невысокий чувак с избыточным весом, который любил расстегнутые на груди рубашки, вытащенные наружу медальоны с Богородицею на серебряной цепочке, немецкие машины, мебель тяжелого дерева, подделки икон и шляхетских сабель. Помню, именно у него дома я впервые увидел видеомагнитофон и кассеты к нему. На одной была «Бесконечная история». Помню как сейчас, он, слегка навеселе, пересказывал сюжет этого фильма отцу, стоя на кухне и опираясь на плиту с духовкой, наливая себе «Метаксу» в стакан «аркорок» из бутылки, привезенной из Германии. Кажется, он как раз обстригал выгодное дельце, потому что отец тогда тоже пил какой-то неплохой алкоголь, но, кажется, просто из горла. Бернат, говоря о большом белом меховом драконе, возбуждался, словно ребенок. Жестикулировал так сильно, что выплеснул коньяк из стакана на пол и даже этого не заметил. Помню, как его жена вошла на кухню и сказала, чтобы он перестал бредить, на что он ей ответил, чтобы та заткнулась, а мама забрала меня наружу и сказала, что лучше мне этого не слушать. Я пошел играть с Марком, который уже тогда, в возрасте десяти лет, был толстым идиотом. Вернее сказать, я смотрел, как он играет, потому что Марек, живущий на складе цветного немецкого пластика, не позволял мне ни к чему прикасаться. Лишь однажды из снисхождения дал ста-

рый тягач с гнутыми дверьми. А потом, через пару дней, велел его отдать.

«Бесконечную историю» я посмотрел только взрослым.

– Бернат никуда не свалил, – громко говорит мой отец.

Никто не отзывается.

– О чем это он? – спрашиваю я.

– Повторяет такое вот уже неделю, – говорит Агата.

– Никуда он не свалил. Он бы такого не сделал, – повторяет он.

– Да хватит, отец. Хватит тут с этими «Секретными материалами», – роняет Гжесь.

– Так что случилось? – спрашиваю я отца.

– Что-то плохое, – отвечает отец чуть тише, потом откладывает ложку и тянется за второй порцией.

Когда я был помладше, сидя с родителями за столом, я говорил ужасно много, потому что мне казалось, что если перестану, то они встанут и поубивают друг друга за пять секунд. Снова этот идиотский самоубийственный рефлекс. Всегда хочу, чтобы все оставалось нормальным. Но на самом деле не имею ни малейшего понятия, о чем теперь говорить – к тому же с отцом.

Никогда не было так, чтобы я и мой отец просто звонили друг другу, поговорить. Мы не встречаемся на гриле, не ремонтируем вместе машины в гараже, не смотрим футбол с гандболом, не пьем вместе виски, вместе мы не пьем даже чай и не спорим о том, кто был большей сукой в Поль-

ше: Квасневский, Чажастый или Мариан Дзюрович ¹⁵. У нас длинная история неразговоров. Годы тщательно лелеемых, серьезных обид. Возможно, мы следим за молчанием друг друга, чтобы друг друга не поубивать.

А может, я просто его боюсь, потому что все еще молоко-сос, а ему этот страх необходим как хлеб.

Так или иначе, я должен что-то сказать, потому что иначе у меня порвется какой-нибудь сосудик.

– Лович? – спрашиваю я через миг, и мне хочется засмеяться.

– Нет, – отвечает отец, даже не взглянув на меня.

– У отца нет времени. Он в политику играет. Создает комитеты, как Куронь ¹⁶, – говорит Гжесь.

– Куронь, – повторяет мой отец, вытирая рот салфеткой. – Куронь, по крайней мере, был честен, а не как все эти суки.

– В какую политику? – спрашиваю я.

¹⁵ *Квасневский Александр* (р. 1954) – президент Польши в 1995–2005 гг., представитель левого крыла Социал-демократической партии Польши, поддерживавший при этом прозападный путь развития страны (вступление в НАТО и Евросоюз произошли при его президентстве); *Чажастый Владзимеж* (р. 1960) – польский политик, член Государственного совета по радио и телевидению, участник коррупционного «скандала Рывина», обвинялся в давлении на медийные институты страны (официальное обвинение так и не было выдвинуто); *Дзюрович Мариан* (1935–2002) – президент Польской федерации футбола.

¹⁶ *Куронь Яцек* (1934–2002) – польский диссидент, создал нескольких нелегальных организаций в социалистической Польше (в том числе разрабатывал стратегию для знаменитой «Солидарности»); известен лозунгом «не жгите комитеты, создавайте свои», обращенным к польским диссидентам.

– Еще увидишь. В серьезную. Будет президентом, – говорит Гжесь и встает со стула.

– Президентом? – спрашиваю я.

– Польши, – говорит Гжесь.

– Мира, – бормочет Йоася.

– Куда идешь? – спрашивает отец.

– За пивом, – говорит Гжесь.

– Тебе уже хватит, – отвечает отец.

– Стрессовая ситуация, нужно выпить, – Гжесь машет рукой на нас, на стол, на тени.

Я не хочу скандала. Не хочу, чтобы Юстина в первый же вечер видела ссору. Мой стресс сосредотачивается на ней. Она – его центр. Без нее мне было бы проще. Пожалуй, я чувствую это. Она вертится на стуле, ест невероятно медленно, обмахивает пот со лба.

– Мы должны отозвать Булинскую, – заявляет отец. – Организуем референдум. Собираем голоса.

– Если отзовете, то должны быть выборы, – говорит Юстина.

– Значит, будут, – отвечает он.

– Будете выдвигаться? – спрашивает она.

– Я просто хочу ее отозвать. Вывезти ее на тачке навоза, – отвечает отец.

– Я сделаю кофе, – говорит Агата, встает, идет на кухню. Тени сгущаются. Отец смотрит вверх, на выключенный верхний свет.

– Нужно ее отозвать, потому что это бандитская земля, – заявляет он через миг и говорит в сторону кухни. – Мне – черный.

– Что именно тут происходит? – спрашиваю я.

– Как это что происходит? – фыркает он. – Ну как это – что?!

Гжесь возвращается с кухни с двумя банками пива. Садится за стол, открывает одну, вторую дает мне. За ним входит Агата, вносит поднос с кофе, ставит на столе.

– Покажу, если захочешь. Люди – бедны. У них есть нечего. Нет работы. Или у них – плохая работа. А кто-то – богат. Богатеет на преступлении, – отвечает отец.

– Я тебе говорил, – смеется Гжесь. – Куронь. А то и Ленин.

– Бандиты богатеют, – говорит отец.

– Бандиты? Такие как Мацюсь? – спрашиваю я, пытаюсь угнаться за ним. Когда он говорит о бандитах и ограбленных бедных людях, то не смотрит ни на кого, всматривается куда-то в воздух за моей головой.

– Мацюсь уже забрал свое и сбежал. Бандиты – такие как Кальт, – отвечает отец. Никогда не говорит, чтобы кому-то что-то объяснить.

– Кто такой Кальт? – спрашиваю я. Мне никто не отвечает. Я моментально чувствую усталость. Мне кажется, отец и Гжесь спрашивают меня обо всех тех зыборских деятелях, о которых я, типа, не могу не помнить.

– Скорее, взял чужое и потому его нет, – Гжесь снова сме-

ется. Он уже выпил свое пиво. Встает, снова идет в кухню: наверное, за следующим.

Отец вдруг смотрит на меня. Глаза его делаются холодными, потом – еще холоднее. Когда он на меня смотрит, провод в моей спине скручивается в узел.

– Так кому вы сдали квартиру? – спрашивает.

– Испанцам, – отвечаю я.

– Не испанцам, а португальцам, – говорит Юстина.

– Работают на «Бедронку»¹⁷, кажется, – добавляю. – Им нужно было на три месяца. Ну и получили.

– А ты не хотела найти работу? Что-нибудь да нашла бы, верно? – спрашивает отец у Юстины.

– В Варшаве работы нет. Не для меня. Не сейчас, – отвечает Юстина.

– Ты ведь молодая и неглупая, Юстина, верно? Столько могла бы сделать, – заявляет он.

– И что другое я могла бы делать? – в голосе Юстины искренний интерес.

– Это же твои проблемы, – отец пожимает плечами. Отворачивается к Йоасе, смотрит на нее без слов, она от этого взгляда горбится, набирает вилкой немного курятины, вкладывает себе в рот.

– Это не значит, что я не хочу вас здесь видеть. Что у меня какая-то проблема – я же сам сказал: приезжайте. Но я просто хочу знать, что вы планируете, – говорит отец.

¹⁷ Система торговых минимаркетов низкой ценовой категории в Польше.

Юстина сжимает зубы так, что я слышу, как они скрежещут, но выдыхает, поднимает голову, улыбается отцу так естественно, словно кто-то растянул ей губы проволокой, и говорит:

– Вы имеете право знать, это же, в конце концов, ваш дом.

– Какой там «вы», Юстина? Говори: «папа», – велит ей отец.

Юстина отвечает парой слов, которых я не могу разобрать.

– А ты? – он смотрит на меня.

– Что – «я»?

– Что ты планируешь?

Я откладываю вилку. Я уже не голоден. Начинается.

– В каком смысле?

– С чего ты живешь? – отвечает он.

– С мелочишки, – хмыкаю я.

– Ты написал ту книжку о Беате Козидрак¹⁸? – Гжесь смеется.

– О Марии Родович, – поправляю я.

– Клевая бабка? Мне кажется, что – клевая. Хогата¹⁹, но вполне норм.

– Не знаю. Я с ней не знакомился, – качаю я головой.

– Например, Ясек. Косит газоны варшавцам и моет маши-

¹⁸ *Козидрак Беата* (р. 1960) – известная польская певица.

¹⁹ Персонаж сериала «Смурфики», толстая лысая некрасивая колдунья, вынужденная носить парик.

ны над Шуварком. Летом заработал три тысячи, – отец горделивым движением подбородка указывает на моего тринадцатилетнего сводного брата как на пример. Тот же наклоняется, словно желая спрятаться под стол.

– Поздравляю, – отвечаю я.

– Кого ты поздравляешь? Себя или его? – спрашивает мой отец.

– Не понимаю, – говорю я.

– Ты живешь с мелочишки. Как Ясек. Сколько Ясеку? – отец тычет в Ясека вилкой.

– Перестань, – говорит Агата.

– Нет, не «перестань», – отец крутит головой. – Ясеку тринадцать. Ты поздравляешь его или себя?

– Отстань от меня, – говорю я тихо.

Я начинаю потеть, холодным потом, тот течет по загривку и по спине. Я успокаиваюсь, мысленно повторяя себе, что ведь знал: будет именно так. Собираю рукой волосы, связываю их резинкой в рахитичный хвостик. Выгляжу как поистрепавшийся, старый мальчишка.

– Значит, говоришь, через три месяца эти испанцы выезжают, – отзывается отец.

– Португальцы, – поправляет его Юстина.

– И что ты хочешь сделать за три месяца? – спрашивает он.

Я смотрю на Гжеся, который наблюдает за всем этим с явной веселостью, и отвечаю.

– Через три месяца нас тут уже не будет.

– А где ты будешь? На вокзале? – спрашивает мой отец.

– Мы можем уехать хоть сегодня, – информирую я.

Я смотрю только на отца. У него те же глаза, что и всегда.

Я где-то читал, что глазное яблоко – единственная часть тела, которая в жизни человека остается неизменной, не растет и не уменьшается. Не стареет. Глаза отца – маленькие, грязные кусочки льда, закапанные гневом, смешанным с чем-то, что сперва, если его не знать, можно принять за тупость.

– Может, вы уже перестанете, – говорит Агата.

– Я просто хочу с ним поговорить. Это мой сын, – отец показывает на меня.

– Ну не знаю. Может, хотя бы в первый день оставишь его в покое? Не унижай сына перед его женой, – Агата показывает на Юстину. Говорит матовым, полусонным голосом.

Пусть валит. Мне не нужно ее заступничество.

– Просто посмотри на себя, – говорит отец, показывает на мои волосы, на мою рубаху, мои штаны. – Посмотри на себя и подумай. Я хочу тебе помочь.

– Мне не нужно, – говорю я тихо, горло перехватило.

– Ты должен понять, Миколай. Это последний шанс. Тебе тридцать два года, тридцать три.

Он в возрасте тридцати трех срал под себя, пьяный, на грязном топчане в подвале, потому что мать запрещала ему заходить в таком состоянии в дом. И я хочу это сказать, но с губ моих почему-то срывается кое-что совершенно другое,

я просто спрашиваю его:

– Что тебе до этого?

– Ну, с сегодняшнего дня – кое-что, – говорит он, сплетая руки на груди.

– Ладно, нахер, успокойся уже, – Гжесь снова встает и идет на кухню.

– Я не с тобой говорю. Я с ним говорю. С тобой поговорим в другой раз, – бросает в его сторону отец.

– Мы возвращаемся, – я встаю со стула, отодвигая его так резко, что тот едва не переворачивается. Сердце у меня колотится так, будто желает вырваться наружу сквозь ребра. Сваливаем. Всем покеда. Пусть даже в канаву. Я же знал, что так случится. Это ведь было настолько очевидно.

Юстина изображает спокойствие. Смотрит то на меня, то на отца. Она принимала это в расчет. У меня умная жена.

– Я говорил: вы мне не мешаете, – говорит отец.

Агата тоже встает.

– Мы возвращаемся. Юстина, пойдем. Мы уезжаем отсюда, – у меня голос, словно я получил кулаком в гортань, проглотил наждачную бумагу.

– Может, успокоимся? Может, мы все успокоимся, а? Уж если мы закончили вступление, все вывалили и можно... – начинает она говорить, но вдруг слышен стук во входную дверь. Резкий, и быстрый, и громкий. Агата смотрит то на нас, то на дверь.

– Ты кого-то ждешь? – спрашивает отца Агата, уже из ко-

ридора.

Снова стук, резкий.

– Ну ведь, сука, есть звонок, – отвечает отец и наконец поворачивается к двери. Когда встает со стула, в комнате что-то сдвигается, начинается легкий переполох, тени на миг меняются местами.

Янек отодвигает стул, встает, Йоася тоже хочет встать, отодвигает от себя тарелку, с которой исчезло куда как немного.

– Ты останешься сидеть, пока не съешь, – говорит мой отец. Йоася вздыхает и снова всаживает вилку в давленный картофель.

– Чего так молотить? – спрашивает отец и подходит к двери.

– Садись, Миколай. Да сядь же, ну. Спокойно, – говорит мне Агата. Я, наконец, сажусь. Касаюсь спины Юстины, всовываю руку под рубаху и свитер. Они мокрые и холодные, как мой затылок.

– Прости, – говорю ей. Она качает головой: не за что.

Гжесь возвращается с кухни. Держит в руке бутылку водки и две рюмки. Садится.

Отец позволяет тому, кто стоит за дверью, постучать снова, а потом – открывает. За дверью стоит женщина, которой я не узнаю. Ей лет пятьдесят, крашенные белые волосы до шеи, длинное пальто, яркий макияж; я вижу, как она трясется, держась за деревянные перила, при виде отца – отсту-

падет на шаг, но он уступает ей место, дает знак, чтобы она вошла. Агата выбегает из кухни и подскакивает к женщине, принимается стягивать с нее пальто.

– Нет, я сама, – говорит женщина. – Я сама, Агатушка.

Юстина внимательно смотрит на нее и резко встает: словно продолжи она сидеть – оскорбила бы этим пришедшую. Выходит в коридор.

– День добрый, – говорит женщине.

– У нас есть звонок, Эва, – говорит мой отец.

– Есть, но что-то он не работает, – отвечает женщина.

– Это моя невестка, – мой отец машет на Юстину.

Женщина вообще не обращает на ту внимания. Она на нервах. Совсем недавно плакала, и плакала долго. Глаза припухшие, окруженные галактикой черных пятнышек туши; лицо покрыто твердой скорлупой из пудры и крема. Скорлупа эта растрескалась из-за того, что наверняка случилось буквально минуту назад.

– Так, может, я сделаю кофе? – предлагает Юстина.

– Сиди спокойно, – отвечает Агата.

– Мне тоже нужно присесть, – говорит женщина.

Агата медленно ведет женщину к стулу у стола. А женщина с каждым медленным шагом вздыхает, и только теперь я ее узнаю: в последний раз видел ее лет десять назад. За это время она сильно расплылась, сгорбилась, ее пригнуло к земле. Чувствуется, что она больна, чем именно не понятно, но – точно больна; запах, кислый, чуть тошнотворный, про-

бивается сквозь сотни кремов, которые она на себя наложила. Она увешана золотыми цепочками, втиснута в пастельный жакет и рубаху с воланами, выглядит так, словно только что вернулась со свадьбы.

– Садись, – говорит Агата и ненадолго выходит на кухню.

Женщина выполняет приказ, потом наклоняется ко мне через стол.

– Добрый день, Миколай, – говорит.

Я киваю:

– Добрый день, пани Эва.

Жена Берната успокаивается, выдыхает глубоко.

– Я уже обо всем слышала. Слышала, что вы снова в Зыборке. Это хорошо. Кто-то должен тут жить. Не могут же люди только уезжать, – говорит женщина.

Отец возвращается и встает над ней, зондирует ее взглядом. Гжесь пододвигает мне рюмку. Я не возражаю.

– А вы что? – спрашивает пани Бернат, вытирая глаза салфеткой.

– А ты что? Успокоилась? – спрашивает мой отец.

Агата через пару минут возвращается с кофе на подносе. Ставит его на стол. Бернат снова взрывается плачем, словно только и ждала, чтобы собралось побольше публики.

– Ну, хватит, не нужно этого шума, – теперь видно, что ей стыдно. Что когда она прибежала сюда и молотила в дверь, то не думала о том, что делает. Помню, как она схватила Гжесь за ухо и, держа его так, подняла в воздух, потому что он

пригвоздил ее сына мотыгой к стене.

– Это ты шумишь, Эва, – отец снова садится на свое место, отпивает глоток кофе.

Йоася смотрит на все это с растущим интересом, совершенно игнорируя недоеденный обед, и тогда мой отец говорит ей:

– Иди наверх.

Она вздыхает с облегчением. Жена Берната провожает Йоасю взглядом, ждет, пока звуки шагов не стихнут наверху, и только потом произносит:

– Она пришла сегодня ко мне, – когда говорит, что-то словно распирает ее лицо изнутри. Агата сидит рядом, кладет ей руку на плечо, Бернат даже не замечает этого.

– Пришла сегодня ко мне, блядина, пришла, ебать ее ко-
нем, – продолжает Бернат.

– Кто пришла? – спрашивает мой отец.

– Ты ведь знаешь кто, – говорит Агата. Отец чешет голову.

Кофе растворимый, горький и слабый. Чувствую, как на проволоке в моем хребте вырастают шипы. Рюмка, которую подсунул Гжесь, говорит: «привет». Я беру ее в руку и тоже говорю: «привет». На ней логотип «Выборовой»²⁰ и следы порошка от посудомойки.

Юстина глядит на Бернат сосредоточенно, каждое слово этой женщины полностью поглощает ее внимание, все прочее перестает для нее существовать. Как всегда, когда кто-

²⁰ Известная марка польской водки.

то начинает рассказывать то, чего она раньше не слышала.

– Пришла, идет, и я вижу из окна, что это она, вижу, как подходит к двери, и спрашиваю, чего она хочет, сука такая, лярва, ты, думаю, договариваться пришла, договариваться пришла, падаль, согласи я ищешь, она звонит в дверь, и я говорю себе, не открою, не открою ей, Богом клянусь, я наверху сидела и подумала, что надо бы какое успокоительное принять, чтобы не забить ее молотком. Но потом я пошла к двери.

– Нахалка, – поддакивает ей Агата, для того наверное, чтобы жена Берната смогла перехватить воздуха.

– Открываю ей дверь, – продолжает та, – открываю ей и сразу вижу: что-то не так, она всегда выпендренная, сиськи вперед, а тут стоит абы какая, серый свитер, не покрашенная, голову опустила, обувь грязная, тапочки какие-то, я открываю эту дверь, а она даже не смотрит на меня, только на обувь свою глядит, ну, я думаю, каяться пришла, стонать, говорю, ты, падла, мужа у меня забрала и теперь приходишь ко мне плакаться, может, он от тебя к той, что еще моложе, погнал, потому что тридцать два или сколько там тебе, это не такая уж и молодость, может, он двадцатилетку себе нашел, а сама думаю: так тебе и надо, прошмандовка, видишь, как оно, к чужому лапы тянуть, верить в обман, думать, что краденым будешь счастлив.

Захлебывается плачем.

Я вижу, как отец на миг стискивает кулак, потом резко

его разжимает. Он сердит. Мой отец ненавидит чужие эмоции, хотя прекрасно умеет их вызывать. Он и свои собственные едва выносит. Проволока, что теперь в моем хребте: кто-то дергает за нее вверх-вниз, разрывая ткани, выковыривая костный мозг. Я сейчас лопну от боли. Никто не сумеет меня прикончить. Никто не сумеет привести меня в ярость. Ни у кого нет такого склероза, как у меня. Я один такой идиот. Показываю Гжесю рюмку. Он машет, чтобы я ее придвинул.

– Я вам сочувствую, – говорит Юстина. – Это, наверное, ужасно.

– Детка, – говорит жена Берната. – Дело же не в этом. Она спрашивает: я могу войти, – продолжает рассказывать, – могу войти? Чего ты хочешь? Зачем сюда пришла? Я стою и держусь, чтобы ей не вмазать, чтобы ничего с ней не сделать, с лестницы не спустить. А она говорит, ни с того ни с сего: вы не знаете, где он может быть, Филипп. Я и замолчала. У меня перед глазами потемнело. А она говорит, мол, если он дома, то не собираюсь с ним видеться, все понимаю, он домой вернулся, к вам вернулся, говорит мне. Я хочу лишь знать, что с ним все в порядке, и больше не приду, говорит. О чем ты, я спрашиваю. О чем ты вообще? Но уже знаю, о чем она, только чувствую себя так, словно меня по голове ударили, сильно. Я говорю – входи. Входи, впускаю ее.

Гжесь придерживает рюмку, слушает, что говорит жена Берната. У меня же сейчас позвонки взорвутся. Я встаю, шиплю, сажусь снова, никто не обращает на это внимания.

Тени в комнате трясутся, словно нарकोши на сельской дискотеке.

– Он две недели назад исчез, говорит, должен был поехать в Ольштын по какому-то делу, сказал, что автобусом съездит и вернется, потому что переговоры будут с водкой, а пьяным он ехать не станет. А потом сказал, что машину возьмет, говорит она. Рано вышел, я еще спала, говорит. Две недели назад это было, а его все нету. Как это – нету, спрашиваю я ее снова. Нету, говорит она, на телефон не отвечает, говорит она, никто ничего не знает, говорит она, не знаю, с кем он дела поехал решать, говорит, я вошла на счет, он дал мне пароли, говорит, ничего по счету, ноль движения, никаких денег он не брал, ничего. И его не начали искать, спрашивает меня, а я говорю, кто бы его искал, если он год бесплатного отпуска взял на предприятии, Кульшовского исполняющим сделал. А не знаете, с кем он мог это дело проворачивать, спрашивает она меня, а я откуда могу знать, говорю ей, он же тебя трахает, тварь, каждый уик-энд, потому я и не знаю, что бы я там знала. Он и не мой муж уже, говорю. Он ваш муж, она говорит, и значит, вы должны подать заявление об исчезновении в полицию. Какое исчезновение, в какую полицию, спрашиваю, а она говорит, нет его здесь, нет его у меня, так где он может быть, говорит? Где он может быть? Сбежал он от тебя, говорю. И от тебя он сбежал, прошмандовка, говорю ей, а где он теперь, мне дела нету. А она говорит, что, мол, машину нашли, стоит в центре Зыборка, здесь, что из поли-

ции позвонили, что стоит уже две недели у рынка, потому я взяла ключи и поехала, говорит, открыла, а там портфель его, документы, деньги, все, телефон выключен. Все, говорит мне, пани Эва, все было в той машине. Только его не было.

Бернат уже не издает никаких звуков, только молча трясетя. Прижимает ладони к лицу. Все молчат. Гжесь наконец напоминает о себе, берет бутылку, наливает мне снова. Отец смотрит на это с таким лицом, словно дерьма глотнул, но молчит.

Слышу, как начинает лаять собака отца. Знаю, что сейчас начнут лаять все.

– Что это ты, Эва, такое рассказываешь? – спрашивает отец. У него широко раскрыты глаза. Последний раз я видел такое выражение на его лице, когда Квасневский выиграл выборы в девяносто пятом ²¹. После очередной рюмки проволока в спине мигом превращается в мягкую резинку. Я выдыхаю, представляю, что воздух обладает цветом, что он серый, как пыль из открытого пылесоса. Легчает. Тело становится мягким как хлеб. Тени на миг замирают. Лают уже все собаки.

– Так вы все же пошли в полицию? – спрашивает Юстина.

– Хочу поехать, но сама не справлюсь, – отвечает Бернат. – Я потому и пришла, чтобы кто-то съездил. Сама не смогу.

– Я могу с вами съездить, – говорит Юстина. – Никаких

²¹ Александр Квасневский, политик левого лагеря, выиграл в 1995 году президентские выборы у Леха Валенсы с минимальным перевесом.

проблем.

– Юстинка, спокойно. Спокойно, – отзывается Агата.

– Ну, Эва, тогда собирайся, – говорит мой отец.

– Еще по одной? – спрашивает Гжесь. Я киваю.

Жена Берната прячет лицо в ладонях. Кажется, она кипит изнутри. Медленно встает со стула.

Вдруг теряет равновесие, хватает отца за плечо.

– Отчего ты сразу не приехала? – повторяет мой отец, берет ее за руку и ведет в сторону коридора.

Я выпиваю рюмку. Становится лучше. Спину отпускает, хребет снова становится просто костью. Уже хорошо. Уже о'кей. Хорошо, что это случилось сейчас, а не через неделю-две. Может, мы как-то справимся. Может, отец уже сказал все, что хотел сказать.

– И что, интересно тебе это? Интересно? – спрашивает меня Гжесь. Наливает снова.

– Не знаю, о чем ты.

Не знаю, о чем он.

Мой отец надевает на Бернат пальто. Та пытается просунуть ослабевшие руки в рукава, ей это удастся только с какого-то раза.

– Мы собирались утром на рыбалку ехать! – кричит отцу Гжесь.

– Если проснешься, – пожимает плечами отец.

– Держись, Эва! – кричит Агата в сторону коридора, когда отец открывает дверь и пропускает Бернат вперед, но ей

никто не отвечает.

– Интересно тебе, да? Забавно? Нравится тебе? В Варшаве бывают такие истории? Входят к тебе домой? – спрашивает Гжесь.

– В Варшаве к тебе домой входят другие дела, – говорю я. Выпиваю третью рюмку.

О боже. Как же хорошо.

– Здесь все дома – это один дом, – отвечает он, и только сейчас я вижу, что за несколько последних минут от сумел окончательно нажраться.

Мальшняя

Он затворил за собой дверь. Снял куртку, повесил на вешалку. В коридоре было зеркало. Он посмотрел на себя в профиль. Обрюзг, это видно, даже когда он в сутане, подумалось. Она кормит его слишком жирно. Не умеет иначе. Можно говорить ей, чтобы постнее,

без масла, не на сале, но она все равно делает, как знает. С детства помнила войну. Такие люди всегда считают худое – нездоровым.

Ночи длинны и злы, подумал он. Ночи – это испытание духа. Ночи – это то, что днем прячется в тени, подумал он. На самом деле всякий день нужно считать хорошим, подумал он. Каждый день что-то дает, что-то показывает. Даже если он таков, как сегодня. Особенно если он таков, как сегодня.

Он вошел в зал. Включил верхний свет, но лишь затем, чтобы добраться до настольной лампы, включить и ее. А когда ее включил, снова выключил верхний. Если была возможность, он предпочитал полутьму. В полутьме читал, писал, молился, а порой и просто сидел, позволяя мыслям хаотично бродить в голове. Считал это прологом к молитве, своего рода проверкой. Окулист сказал, что полутьма – дурная привычка, что это может закончиться глаукомой. Но он предпочитал хуже видеть, чем ощущать беспокойство, что быстро влезало в душу при полном свете и сжимало ее плот-

ным кулаком.

Телефон загудел. «Спасибо тебе, Дарек». Он какое-то время смотрел на фразу, пару раз прочел ее, а потом отключил устройство. Странно, думал, что его сноха вообще не знает этого слова. Считал ее женщиной, отлитой из бетона, громкой, фальшивой и пустой. Была она из тех, кто полагает, что весь мир должен быть им благодарен.

Когда его брат пришел исповедоваться и когда сказал, что у него роман с другой женщиной, в душе он отпустил брату грех сразу. Понимал его.

Ненавидел ходить в полицию; не любил даже проходить мимо, не говоря уже о том, чтобы входить внутрь. Внутри всегда пахло старым потом, которым, казалось, тамошние стены пропитались насквозь. Как и в любом месте, куда люди приходят, чтобы бояться. Когда никто не видел, он закрывал нос; когда в июле освящал здание на День полиции, потихоньку попросил коменданта, чтобы тот отворил все окна.

На этот раз он не освящал, на этот раз он отвечал на вопросы по сути и согласно с правдой. Он не видел брата с того времени, как тот, наконец, убежал с любовницей. С того времени они говорили один раз, коротко и по телефону. Оба старались не затрагивать эту тему. Только раз Филипп сказал что-то вроде: «Может, как-нибудь заскочишь ко мне сюда, где я сейчас сижу».

Женщина, к которой сбежал Филипп, – он не знал ее, даже не мог вспомнить, как та выглядит, видел ее раз или два у

него в конторе, когда делала кофе или приносила сладости или закуску. Наверняка не ходила в церковь, не принимала причастие. Возможно, приходила на какие-то крестины или на свадьбу.

Бог – это одно, а жизнь – другое, думал он. За всем нужно поклоняться. Если б каждый так полагал, мир был бы лучше, думал он. Бог – он не плоский. Его создания – не плоские. Бог творит глыбы, а на глыбы смотрят со всех сторон, чтобы понимать, какова их форма.

Выпить бы чаю, подумал он, но Ядвига уже спала, не было смысла ее будить. Он открыл письменный стол, взял бутылку бренди, налил немного в стакан, выпил. В горле запекло. Он выдохнул. Это было глупо, сейчас бы выпить чаю, снова подумал он. Нужно пойти и сделать самому. Нашумит. Она испугается и встанет. Нет, не стану, подумал он.

Свяжись с сыном, сказал он снохе, когда они выходили из участка вместе с Томеком, на чье плечо она опиралась, и та девушка из Варшавы, невестка Томека. Будьте в этом вместе, сказал он, она кивнула, что надеется, что сын, в конце концов, ответит, хотя они разругались, сильно, несколько лет назад, а может, он как раз к сыну и поехал, мириться, начала она говорить, быстро и громко.

Он помнил о той ссоре. Там был тяжкий грех. Не хотел высказываться об этом, вмешиваться. Бог выскажется. Жена Марека забеременела. Филипп обрадовался, говорил: возвращайтесь в Польшу, уже начал готовить им в доме послед-

ний этаж. Отремонтировал, обустроил комнату для внучка. Будете сидеть себе, ты, Марек, будешь здесь у меня на предприятии, она под постоянной опекой, все будет хорошо. Широкий жест. Большое счастье. А они сделали пренатальное обследование, и стало ясно, что у ребенка диагноз. Она его убила. Филипп звонил ему, просил: поговори с ней. Она не хотела говорить. Он звонил дважды, но его номер, как видно, поставила на блок. Марек тоже не хотел вмешиваться. Ее живот – ее выбор, говорил. Потом накричал на отца, что ты, мол, на меня попа насылаешь. Моя жизнь, все повторял. Глупы те, кто думает и говорит: «моя жизнь», подумал он.

После они сразу развелись, не выдержали, смерть дело тяжелое, грех обрывает все. Накладывает тень, постоянную, словно татуировка. Филипп не простил. Ты внука мне убил, и со следующими – так же, говорил. И Эва тоже. Слово за слово. Прокляли его, он их проклял. Пустой стул на праздники. Тихий плач. Глупые слова. Филипп был тверд. Сам не знал, чего хочет от сына. Признался как-то, еще до того, как сбежал к той женщине, что порой поднимается на пустой этаж и там пьет.

Но из квадрата круга даже Иисус не сотворит, подумал он через минуту.

Когда они уже сидели в машине Томека, она получила эс-эмэску. «Отца нет в Англии, мама». Сказал тогда, что может ее исповедовать.

– У меня уже нет сил, – сказала она.

– Когда только пожелаешь, Эва.

– Не говори со мной, как на проповеди, Дарек, – ответила она; не владела собой, начала плакать, он лишь кивал.

Спокойно вынести все, подумал он. Нести крест чужой гордыни, подумал он. Не вычеркивать, помогать, по чуть-чуть, миллиметр за миллиметром подталкивать ко спасению, подумал он.

Из квадрата круга даже Иисус не сотворит, подумал снова. Хватит уже, все.

Сейчас он подумает о кое-чем другом, позволит мыслям отираться друг о друга, а потом помолится. Умел отворачиваться от того дурного, что вставало перед ним и смотрело в глаза. Умел сделать так, чтобы это дурное оставалось на месте, а не перемещалось всякий раз туда, куда разворачивался он сам.

Он пошел на кухню и так тихо, как мог, принялся ставить воду на чай.

Можно уже закончить сбор на ремонт органа. А органщик ужасно дорог, к тому же – очень неприятный человек, его сразу предупреждали; видно, что злоупотребляет водочкой, красное лицо, изо рта несет кислятиной, глаза злые, маленькие, косые и темные. Но важнее – что делает. Профессия часто в руках людей потерянных, подумал он.

Ему удалось снять свисток чайника в идеальный момент, и тогда раздался грохот, снаружи, со двора, внезапное громыханье падающей на землю жести пронеслось по дому

пробста, по коридору пробежал напуганный кот, а потом он услышал шелест, шаги, и то, как кто-то говорит, громко и произвольно: «да ебаная ж ты сука».

Бренди поднялся в его теле, словно ртуть в приставленном к печи термометре, вскочил назад в горло. Он сглотнул. Прислушался, а затем опять надел куртку и вышел наружу. То, почему собака даже не гавкнула, понял лишь когда ее увидел.

– Шарик, Матерь Божья, – позвал, не понимая до конца, стоило ли; животное было еще теплым, но уже неподвижным, напряженным как струна, из уголка пасти стекала пена, смешанная с содержимым желудка.

– Кто это с тобой сделал, кто сделал? – спросил он тихо. Тот, кто выругался и чьи шаги стихали уже в конце улицы, кто хотел, чтобы он испугался. Кто хотел, чтобы он увидел нечто дурное.

– Что происходит? Что случилось? – пани Ядвига стояла на лестнице, укутавшись в халат, обнимала себя короткими ручками, заспанная, еще не пришла в себя. Но уже проснулась. Ни к чему, ни к чему это все, подумал он. Совершенно ни к чему.

– Шарика отравили, – произнес он, не глядя на нее.

– Бедная малышня! – вскрикнула Ядвига и подбежала к собаке, а он поднял голову и только тогда увидел то, что должен был увидеть сразу: в глазах на миг потемнело, он почувствовал крохотную каплю отчаянного холода прямо посре-

дине затылка.

Свастика была большой, метр в ширину, метр в высоту. Полосы спрея – черные, толстые, жирные, словно грязные пальцы. Он встал. Ядвига плакала над телом собаки, еще не замечала.

В ГАЗОВУЮ КАМЕРУ ПРЕДАТЕЛЬ СУКА – надпись рядом со свастикой была кривой, небрежной, буквы наползали одна на другую. Металлическая корзина для мусора, перевернутая рядом, была как точка. Он оглянулся на улицу, но там давно уже никого не было.

– Что это? Иисусе Мария, что это? – спросила Ядвига.

– Не кричи так, – он хотел попросить, но получилось, что рывкнул. Она испугалась еще сильнее.

Он подошел к стене. Притронулся. Краска была свежей, измазал кончики пальцев.

– Кто это сделал? – спросила она. – Кто мог это сделать, что за бандит, что за вандал?

Ночи – это то, что днем прячется в тени, подумал он. Редко какой день бывает хорош, подумал он. Хорошие дни и за всю жизнь можно сосчитать, наберется их пара-другая десятков, может – сто. Если молиться, то только о хороших днях, подумал он. Скоро их вообще не будет, чувствовал это.

– В полицию надо звонить. Уже иду, уже звоню. Что за сволочи, – сказала Ядвига и пошла в сторону дома пробста.

Молиться о хороших днях, хотя молитвой тут мало что решишь, подумал он.

Посмотрел налево, направо, развернулся поглядеть, что позади, и видел, что нечто дурное, черное было везде, шло за его взглядом, за каждой его мыслью.

Юстина

Сейчас четыре утра. Я думаю, смогу ли спуститься вниз и сделать себе чай. Думаю, в каком из шкафчиков чай стоит. Где они держат чашки. Не заставлены ли те батареей другой посуды, которую придется вынимать, чтобы до них добратся. И не возьму ли я чью-то личную чашку, до которой не имеет права дотрагиваться никто другой.

Возможно, я бы спала и дальше, но одеяло тяжелое и горячее, как нагретый солнцем кусок каши. Представляю себе, как кто-то ждет за дверью, прислушивается к каждому слову, к каждому движению.

Идеально было бы принять ксанакс. Как славно было бы принять ксанакс. Но ксанакса уже нет. Попрощайся с ксанаксом, Юстинка. Скажи ему «пока». Пока-пока! Прощай, ксанакс! После последней встречи с Ним на меня снизошло озарение: это чудесный момент, чтобы прекратить принимать ксанакс. Слегка взять себя в руки. Вернуться в мир, протереть стекло. Найти доктора, который выпишет его тебе здесь, в этой глуши, будут непросто. Наверняка непросто и проблемно. Наверняка почти невозможно.

Но оставаться среди ночи в этом доме, на диване – тоже непросто. Все в моей голове перекрикивается, что есть сил. Отец Миколая, Миколай, дом, его брат, кровать, увольнение, Он, португальцы. Словно кто-то включил в голове с десяток

альбомов металлических групп одновременно. Я сосредотачиваюсь на Миколае. Прикасаюсь к одеялу, под которым он спит. Визуализирую

его лицо так отчетливо, как только могу. Вспоминаю, как он у меня поселился. Случилось это быстро. Сперва приезжал на побывки из больницы. Потом остался. Просто осел у меня, а выгнать его рука не поднялась. Хотя я и боялась, что рука эта опустится слишком быстро. Но вместо этого я его полюбила, несмотря ни на что. Наверное, такое случается довольно часто. Мы любим в других отсутствие определенных черт. Любим кого-то просто потому, что он – другой, чем тот, кто был ранее. Миколай был абсолютно не похож на парня, с которым я была последние десять лет. А Он, этот сраный Он – совершенно не похож на Миколая.

Диван, на котором я сижу, во время секса скрипит как нагнуженный грузовик. Из-за этого дивана, из-за того, что мне приходится сидеть на нем совершенно неподвижно – а при любом движении тот издает писклявый скрежет, я начинаю вспоминать обиды. Причиненные и пережитые. Обида – это змея, которая кусает себя за задницу. Мы наносим людям обиды, они в ответ причиняют обиды нам, а мы в ответ наносим те кому-то еще. И так по кругу. Лента мести бесконечна. Проще всего обидеть хорошего человека, говорила моя бабушка. У Миколая доброе сердце. Он может – и всегда сможет – признаться, что сделал нечто дурное, что ошибся. Это очень много. Максимально много. К тому же он умеет смешить.

Умеет быть чувственным и добрым. Нетребовательным. Рядом с ним можно не следить, не играть. Такие люди часто заставляют нервничать, но на самом деле – лечат от неврозов. Они хороши, как хлеб.

Но у Миколая есть и другие черты. Он из-за всего просит прощение. Прячется в угол. Сбегает от собственных слов. Проблемы отбирают у него речь. Он прячется, словно страус. Да, страус – его знак зодиака. Он не умеет ссориться. Только пару раз он впадал в ярость, когда у него падала планка: я тогда говорила что-то жестокое, а я умею говорить жесткие вещи, у меня магистратура по этим делам. Но у него это не было желание настоять на своем любой ценой – просто реакция уставшего организма.

Я поняла все это, когда познакомилась с его отцом.

Тогда Миколай уже поселился у меня, у него была своя полка в ванной, и выделенная часть шкафа, и своя чашка для кофе. Это была симпатичная двухкомнатная квартира в Муранове. Я очень ее любила. Там не было страшно, а в Муранове страшно в каждой второй квартире. Была она небольшой, чистенькой и белой, с мебелью, которую я нашла на помойке и сама отремонтировала. Я снимала ее невероятно дешево. Хотела даже купить. Отец Миколая как раз был в Варшаве, какое-то обучение на грант Евросоюза.

Он сел за стол, за которым мы ели, и сказал, чтобы я сделала ему чаю. Не попросил, но сказал, а когда я слегка опешила, без выражения посмотрел на меня, словно собирался

спросить, чего я еще жду. И что мне было делать? Я встала и сделала ему этот чай, обещая себе, что отвечу. Вот-вот отвечу. Так и не ответила, но зато не вынула пакетик и не дала ему ложечки, сахара или блюдца. От не отреагировал и погрузился в тихий, медленный монолог о том, в какой цвет лучше всего перекрасить стены, как расставить мебель, да и вообще – зачем нанимать, если лучше взять в кредит.

– Это не моя квартира, – сказал ему тогда Миколай.

– Ну я ведь об этом и говорю, – ответил он.

– Она моя, – вмешалась я.

– Если вы нанимаете, то, пожалуй, не ваша, – ответил он.

Все еще был в туфлях. Даже не обеспокоился проверить, чисты ли они, посмотреть себе на подошвы. – Дурость делаете.

– Ну, полагаю, это мое дело, – ответила я.

– Отчего же? Это наше общее дело, – ответил он и потом добавил: – Подала бы ты мне сахар.

– Я не могу поверить, – сказала я, когда отец Миколая вышел. – Это невозможно.

– Он такой, – ответил Миколай. – Ничего не поделаешь. Такой вот восьмитысячник ²².

Я кивнула, успокоилась, а потом мы взяли кредит и поженились.

Я начинаю видеть контур своих ног. Полагаю, светает. Мне очень хочется пить. Никто меня не убьет. Никто тебя не убьет, Юстинка. Точно? Точно. В каком шкафчике чашки?

²² Имеется в виду альпинистский термин для гор выше 8000 м от уровня моря.

Я поехала в полицию главным образом для того, чтобы почувствовать: из этого дома вообще можно выйти, если уж ты однажды в него вошел.

Отец Миколая вел, я сидела рядом, а эта женщина, которую мне было жаль, и этот ксендз (из разговора становилось ясно, что он ее деверь), сидели сзади. Ксендз спрашивал ее, не хочет ли она исповедоваться. «Ксендзы – они без башки», – подумала я. Они и правда верят, что могут кому-то помочь.

– Все выяснится, вот увидите. Не такие дела выяснялись, – сказала я ей, оглядываясь.

– Что выяснится? Что выяснится? – спрашивала она плаксиво. – Что он что, к третьей бабе сбежал? В это я не поверю. Он не настолько Казанова, – сказала еще, а я фыркнула, не могла удержаться. И отец Миколая тоже, кажется, улыбнулся. «У него улыбка Сталина», – подумала я.

В участке, где пахло сигаретами, масляной краской и чем-то металлическим, чего я не сумела распознать, он заставил дежурного, сидящего за допотопным компьютером, вызвать коменданта. Дежурный принялся юлить. Комендант занят, потом болен, а в конце – и вовсе его нет.

– Позвони и скажи, что Томаш Гловацкий хочет поговорить, – сказал отец Миколая.

– Но я не могу этого сделать, – сказал дежурный.

– Можешь – и скажи, что это я, – повторил отец Миколая. Дежурный смотрел на него некоторое время, потом позво-

нил. Комендант появился через пять минут, взял женщину на допрос.

– Только давай без сцен, – сказал он, уводя ее.

Мы остались втроем в приемной: я, отец Миколая и ксендз.

Некоторое время я хотела сказать этому ксендзу, чтобы он исповедовал меня. Это не было шуткой. Я очень хотела быть взвешена. Осуждена. Без снисхождения.

Но вместо этого мы молча изучали детали помещения. Я сосредотачивалась на розовых пластиковых цветочных горшках, в которые воткнули рахитичные папоротники.

Наконец женщина вышла, совершенно в истерике. Полицейский, крепкий невысокий мужик, подошел к отцу Миколая и хлопнул его по плечу, а тот отодвинулся.

– Мы приняли заявление об исчезновении. Нужно бы взять и от второй, потому что она видела его последней. Но знаешь, Томек, хорошо, что вы приехали, – он старался говорить тихо, но голос его разносился по всему коридору.

– Я, сука, уже ведь говорил, – ответил отец Миколая.

– Не было оснований, Томек, отвези ее домой, – мужик почесывал голову. Явно был на нервах.

На обратном пути отец Миколая продолжал молчать. Лицо словно маска, он будто позировал для фотографии на паспорт. Мне вспомнилось, что такое же выражение лица было у него на нашей свадьбе. Может, кроме того момента, когда перед чиновницей я обещала Миколаю верность до смерти.

Тогда он некоторое время смотрел на меня, словно желая спросить, что я вообще делаю.

– Вот как, на хрен, вообще с ними разговаривать, с ебаными дармоедами. Ничего ведь не делают. Ничего. Кроссворды решают, пентюхи, – процедил отец Миколая.

Вдруг женщина подпрыгнула, получила эсэмэс от сына.

– Нет его, – сказала с заднего сиденья. – Пишет, что нет его в Англии.

Я хотела спросить, почему он пишет, а не звонит, и почему, собственно, его нет здесь, отчего он в такой ситуации не сел в первый попавшийся самолет. Но я не спросила. Это были чужие люди.

Когда я вернулась домой, Миколай спал, но проснулся, когда я легла рядом. Смердел водярой. Я не стала зажигать света, он нащупал мое лицо в темноте.

– Не переживай, – сказала я. Я была зла, что он напился. Но и сама хотела напиться.

– Я не переживаю, – ответил он.

– Но ты – зол, – сказала я и погладила его по волосам. Те были теплыми и грязными. У меня не было никого, кроме него.

– Да ебать их обоих, – выкашлял он.

– Спокойно. Спокойно, – успокаивая его, я успокаивала себя.

– И что с той женщиной? – спросил он.

– Ничего. Подала заявление об исчезновении, – я покача-

ла головой.

– Мы можем уехать. Хоть завтра, – сказал он, приподнимаясь на постели.

– Пойдем-ка пока спать, – ответила я; вдруг почувствовала, что настолько обессилела, что вот-вот потеряю сознание. И вспомнила, что больна.

– Юстина, мы можем уехать завтра, правда, – сказал он. – Да пошел он на хрен. Это моя вина. Прости. Это моя вина, что так вышло.

– Давай спать. Все нормально, – повторила я.

Миколай заснул, но я уже знала, что не засну. Теперь пытаюсь спуститься вниз. Ступеньки скрипят, словно их сложили из спрессованных блоков сухой листвы. Сейчас кто-нибудь проснется и арестует меня за нарушение домашнего спокойствия. Вышлет, чтобы я спала в собачьей будке. Это было бы не так уж и плохо. Может, там я, по крайней мере, выплюсь.

Я хорошо помню, где выключатель. И только через пару секунд слепоты вижу, что кухня Гловацких,

кроме того что она – кухня, представляет собой коллекцию расставленных и растыканных всюду безделушек, засохших стеблей в горшках, звоночков, магнитиков на холодильник с Зыборком и окрестностями, вырезанных из дерева Богоматерей, смешных пробочек, пуговиц, кружечек. Все тут светло-зеленое, только занавески на окне бледно-розового цвета.

Я гашу свет, это можно сделать и без него, просто спокойно и неторопливо. За окном светает все сильнее. Сперва я нахожу нужные предметы: электрочайник, ложечки на мойке, кран.

Он честный. Сделает все, что пообещал сделать. А кроме того, у Него нет обязательств, его дети взрослые, а жена где-то далеко, обеспеченная, спокойная в своей печали, которую ты можешь только вообразить. А Миколай? Миколай спит. У него никогда не было проблем со сном.

Я открываю шкафчик. Батарея кружек – это первое, что я вижу, но потом взгляд мой скользит на нижнюю полку, где я замечаю пачки с чаем.

– Мелисса справа, – слышу позади, огромный кулак сжимает мое сердце, на миг я теряю дыхание.

Отец Миколая стоит в дверях, уже готовый уходить, одетый в армейскую куртку и высокие резиновые сапоги.

– Иисусе Христе, – говорю я, увидев его.

– Ну не перебарщивай, – отвечает он и машет мне на стул у столика, чтобы я села.

– Я уже уйду, хотела только чего-нибудь выпить, – говорю я.

– Я сейчас сделаю. Садись. Сделаю тебе и завтрак, – отвечает он, подходит к холодильнику, вынимает оттуда масло, яйца и сыр.

Наливает воду медленными и точными движениями, словно он – в химической лаборатории.

– Я говорил, что так будет. Что от другой бабы он бы уже вернулся, – говорит он через мгновение. Он переживает, это ощущается в его словах, но не в голосе, не в теле. Это невозможно, как его тело не умеет выражать эмоции.

– И откуда у вас это предчувствие? – спрашиваю я.

– Тебя это заинтересовало, а? – спрашивает он и разворачивается.

– Я не любопытна, – защищаюсь я. Совершенно не понимаю, в какую сторону пойдет разговор. А отец Миколая смущает. В этом халате, без макияжа, я перед ним чувствую себя почти голой. – Я хотела как-то ее поддержать. Чтобы рядом с ней была какая-нибудь еще женщина.

Я смотрю, как он ставит передо мной кружку.

– Перестань мне лапшу вешать, Юстина. Ты – журналистка.

– Журналистка, – соглашаюсь я.

– Ну так вот тебе тема, – отвечает он. – Хорошая тема.

На миг он застывает, словно ему в голову пришла некая мысль, а потом начинает бить яйца на сковородку. Я чувствую голод. Когда поем и напьюсь, то, возможно, засну.

– Я не хотела никого будить, – говорю я.

– Нормально, я всегда так встаю. Я тоже не могу спать на новом месте. Особенно в отпуске. Как поеду куда в отпуск, то первая ночь – пропадающая.

– Ну, я-то здесь не в отпуске, – говорю громко, хотя предпочла бы просто об этом подумать.

– Может и в отпуске. Зажарить или всмятку? – спрашивает он.

– Средне, – отвечаю я через миг.

– Значит, будет средне, – заявляет он и прикручивает газ под сковородкой.

– Как вы думаете, что случилось с тем человеком? – спрашиваю я.

Он качает головой. Ставит передо мной тарелку. Я отпиваю глоток мяты. Она горькая, чуть затхлая.

– Он получил, что заслужил. За то, что мы делаем. За то, что он уступил бандитам, сучьим детям, – отвечает он.

– Каким бандитам? – спрашиваю я.

Он прав. Я любопытна.

– Об этом и книжку можно написать, – отвечает он через миг примиряюще, словно желая дать мне понять: мы мало друг друга знаем, чтобы об этом говорить.

– Миколай написал, – напоминаю я.

– Миколай просто хотел сделать из всех идиотов, – говорит он и вываливает парящую желтую субстанцию на тарелку, а потом берет ту в руки и садится рядом, на углу. Съедает яичницу быстрее, чем за минуту. Запивает ее большими глотками кипятка, громко выдыхая. – Но мне жаль, что ты слышала то, что было за обедом. Я не хотел так. Это нервы, – добавляет он через миг.

– Наверняка Миколаю тоже жаль, – выдавливаю из себя, прежде чем успеваю прикусить язык. Жду, что он покрасне-

ет и заорет, но ничего такого не происходит.

– Миколай – мой старший сын, – отвечает он и сразу же спрашивает: – Ты сейчас заканчиваешь какой-то репортаж для газеты, верно?

– Да. Верно. Пытаюсь закончить.

– О тех педофилах? Но тебя же вышвырнули? – спрашивает он.

– Меня вышвырнули с должности. Сказали, что будут публиковать мои тексты на условиях сотрудничества. Но этого мало, чтобы закрывать кредит, – объясняю я.

– И думаешь, они это опубликуют? Или просто так говорили, чтобы тебя не обидеть? – спрашивает он снова таким тоном, словно знает, что случится, куда лучше меня.

Я не знаю, что ему ответить.

– Мне кажется, что они не допустят этого. В смысле, не газета, но те сукины дети, – говорит отец Миколая. – Заткнут тебя процессами. Или баблом.

– Уже пытались, – киваю я.

– Сколько тому мальчишке было? – спрашивает он, очищая тарелку кусочком хлеба.

– Пятнадцать. Мальчишке было пятнадцать.

Мой информатор (какое же мерзкое слово: «информатор»), мальчишка по имени Кирилл, которого мы приглашали домой, которому давали книги, еду и одежду – его нашли через два месяца в петле на кухне в Праге ²³. В крови его

²³ Имеется в виду квартал в Варшаве, все еще имеющий славу неблагополуч-

была вся таблица Менделеева.

Коронер сказал, что выглядело так, словно он залез на оптовый склад пушеров и сожрал весь их ассортимент. Среди людей, которые до двенадцатого года его жизни платили ему за секс, он назвал одного известного польского режиссера, многолетнего директора различных союзов госказначейства, бывшего министра сельского хозяйства и одного из известных епископов. Говорил, что у тех было что-то вроде клуба. Что они называли его Клубом Винни Пуха. Что мальчиков и девочек были десятки. Из Гославья, Тархомина, Северной Праги. От восьми до четырнадцати лет.

– Ну, даже если издашь, в книге же можно написать что угодно, я раз видел книгу, которая называлась «Гитлер – основатель Израиля», ага, есть и такая книжка, один мужик написал, и что с того? Такие вещи, чтобы кто-то воспринял их всерьез, сперва должны появляться в газете, – говорит отец Миколая. В каком-то смысле он прав.

– Я попытаюсь, – отвечаю я, думая, что в машине есть коробка, которую я упаковала первой, коробка, полная распечаток, статей, ксероксов, пендрайвов, карт памяти, жестких дисков и кассет; думая о том, что это оказалось бы самой простой вещью на свете: взять эту коробку, отнести на свалку, отряхнуть руки и забыть.

– Я понимаю, это непросто, – говорит он, вставая со стула.

– Типа что – непросто? – спрашиваю я.

– Жить с уверенностью, с чувством, что нечто должно случиться. А потом – забрать это у себя, – он моет тарелку и прячет ее в шкафчик. Еще секунду глядит в окно, будто кого-то там высматривая, а потом молча открывает один из шкафчиков и что-то там ищет. Подходит ко мне и кладет передо мной упаковку розовых таблеток. Я сразу узнаю их. Это единички. Жизнь хрупка и глупа. Я фыркаю от смеха. Отец Николая не реагирует.

– Если так и не сможешь заснуть, прими две. Это Агаты, – говорит он.

Выходит из кухни, я слышу его шаги, слышу, как он открывает дверь, а потом закрывает, слышу, как заводит машину, и только потом кладу в рот таблетку, словно украв ее. Запиваю мелиссой. Возможно, я усну. Когда человек спит, он не может ни обидеть, ни испытать обиду. Не может мстить. Даже себе самому.

Чай в последнем ящике у стены, над навесом, запомни.

Миколай

Тридцать три года. Вроде бы столько было Христу, когда его убили. Что ж, Христу как раз удалось за свою жизнь что-то сделать.

Тридцать три года – это жутко, потому что это печать конца. Ты теперь в искусственно продленном возрасте. В периоде поддержания жизни медициной. Когда ее не было, люди столько и жили. Тридцать три года. Потому если ты до тридцати трех лет не сделал ничего, что могло бы тебя пережить, хотя бы не зачал ребенка, хотя бы не построил дом, то не рассчитывай, что тебе удастся сделать что-то после. Не верь в медицину. Медицина врет. Посмотри на «Битлз». Когда они распались, старшему из них было двадцать девять. Повторяю: когда «Битлз» распались.

Когда в возрасте тридцати трех лет ты возвращаешься к исходной точке, значит, ты впустую растратил жизнь. Ты – труп. У тебя, сука, было так много времени. Десять тысяч лет тому человек умирал в возрасте тридцати трех лет из-за гангрены всего организма – и улыбался, вглядываясь в черную, неясную бесконечность, потому что у него была хорошая жизнь – он сумел один раз съесть грушу.

А ты можешь жить еще двадцать, тридцать, а если повезет, так и сорок или пятьдесят лет. Но и все. Будешь расходовать ресурсы, отравлять воздух, откладывая средства на пенсию,

которой так и не получишь. Уже ничего не сделаешь.

Что бы там ни было, я проиграл довольно неплохую жизнь. Была мне дана как последний шанс. Как огромное наследство из ниоткуда, которое я просадил в рулетку в тот же вечер. Получилось как получилось. Как в той сказке о скорпионе. Такая уж природа. У каждого есть какая-то. Моя природа – проебывать.

Наша жизнь с Юстиной была неплохой. Может, не прекрасной и не расчудесной, но неплохой, а «неплохое» – это уже много. Нам хронически не хватало наличности, но у нас была клевая квартира. В клевой квартире мы даже вели клевою жизнь. Были у нас полки, полные книг, в том числе и неплохая коллекция оригинальных изданий из тридцатых. Была светлая кухня, баночки с приправами, рисунки друзей на стенах, горшочки с травами, книжки, винилы, настольные игры, в которые мы играли со знакомыми на уик-эндах за вином, были билеты на музыкальные и кинофестивали, небольшой холодильник для вина и кемекс, которые мы получили как подарки на свадьбу. Был у нас найденный на свалке красивый деревянный туалетный столик из форнира и стулья фирмы «Лад». Был у нас диван, небольшой, но турецкий. Была у нас свободная комната на случай рождения ребенка. Был у нас фильтр для воды и составленные, заваленные книгами письменные столы для работы. Была у нас кровать из ИКЕА с футоном. Были у нас ваучеры на такси с работы Юстины. Был у нас привезенный из Нью-Йорка боль-

шой чемодан с цветными пальмами, купленный в ГАР, чтобы нам его хватило на всю жизнь.

Были у нас, были, были. Было у нас нечто, что отличалось от всех тех вещей. Вещи эти уже стали только вещами в чьем-то гараже. Теперь у нас нет ничего.

А как бы могло быть иначе? Я – наркоша. Труп. Обломок человека. И когда смотрю на себя, то понимаю ее. Я бы тоже ушел к кому-то другому. Я бы тоже хотел, чтобы в жизни моей случилось нечто другое, чем я сам.

Я ведь до сих пор ношу те же штаны, которые были на мне надеты, когда я паковал последние ящики. Эти штаны воняют, но в машине Гжеся этого не чувствуется, тут все пропитано запахом сигарет, тот впитался во все элементы, в кресла, стал неуничтожим, впитался в саму конструкцию.

– Куда мы едем? – спрашиваю.

В ответ он закуривает следующую сигарету и чуть приоткрывает окно. Это приоткрытие, думаю, ничего не дает. В машине – музыка, вдохновенный польский металл о проклятых солдатах ²⁴, от которого мне охота соскрести с себя лицо.

– Туда-сюда, – чтобы ответить, ему нужно выкурить половину сигареты.

– К тому и сему? – спрашиваю я.

– Зыборк должен увидеть, что ты вернулся, – смеется он.

²⁴ «Проклятыми солдатами» в польской традиции обычно называют бойцов Армии Крайовой, которые не прекратили борьбу за свободную Польшу и после изгнания с ее территории немецких оккупантов.

– Чего ты слушаешь такое дерьмище? – спрашиваю я.

Он вынимает кассету, копается в их куче, находит новую. Сует в магнитофон. «Блэк Саббат», Оззи Осборн начинает петь «Sweet Leaf».

– О'кей? – спрашивает брат.

– О'кей, – отвечаю я.

Не знаю, знает ли Зыборк, а даже если и знает, то есть ли ему вообще дело до моего возвращения; и уж наверняка он не производит такого впечатления, когда проноситься за стеклом, в закате солнца, похожий на свой собственный, расплывчатый снимок. Темные контуры домов, горящий неон супермаркетов, мелькающее в свете фонарей здание школы, на чью крышу все еще можно вылезти при помощи лестницы с тыла, как мы делали это когда-то, просто так: забить косячок, выпить пиво, поглядеть на небо.

На миг мне кажется, что Зыборк исчез годы назад, когда я отсюда выехал; что он провалился под землю, и на его месте быстренько намалевали легкую копию, мираж, макет из бумаги, тьмы и дыма.

Я прикидываю, правда ли нам с ним есть что сказать друг другу. Наверняка что-то есть. Вопрос – что именно. Наверняка не то, что по-настоящему дурно, поскольку правда требует тренировок. Ежедневных разговоров. Мы же были в этом слишком плохи. Глупы и горделивы. Впрочем, мы все еще глупы и горделивы. Всегда глупы, всегда горделивы, Непобежденные Гловацкие. Дьявол нас боится, Бог нас

ненавидит.

Вижу, как Гжесь отпивает глоток энергетика SuperSpeed. На серебристой банке контуры сияющей девицы и летящего «ламборджини». Банка пахнет ферментированным бензином с сахаром. Гжесь жестом спрашивает, не хочу ли я глоток. Я качаю головой.

Он паркует машину. Мы за озерком, за тем, что в самом дальнем углу города, далеко от главных артерий города, от многоэтажек. Гжесь потягивается, смотрит в освещенное окно. Закуривает следующую сигарету от предыдущей.

– Не обращай внимания на старика. Он всегда так. Всегда такое херачит. Со мной так – каждый день, – говорит.

– И ты все еще здесь, если он так – каждый день? – спрашиваю я.

– Привыкнешь, сука. Не гони волну, – отвечает он, помолчав.

– Насчет чего?

– Насчет того, что он прав. Ты что-то проиграл, – отвечает он и выходит из машины. Осматривается вокруг.

– Мне просто некуда ехать, – говорю я.

– Как и мне, – пожимает он плечами.

Воздух влажный, но резкий, в нем чувствуется близость леса, мох, ковер гниющей листвы, покрывающей землю.

– Пойдем, отвезу тебя кое-куда, – говорит Гжесь.

Я киваю, снова сажусь в машину.

До леса мы доезжаем быстрее, чем я мог бы подумать. Тут

сумерки глубже, деревья вокруг кажутся монолитной стеной.

– Мне, например, он постоянно проедает плешь, что я не сберег семьи. Не сберег, не сберег, и так по кругу, сука, Мачей. Словно семья – это нечто, что берегут, – говорит он через минуту.

– А что с ней делают, если не берегут?

Он некоторое время смотрит на меня. Щурится.

– Она приехала с тобой сюда. Подумай, в какой жопе ты был бы, если бы приехал сюда сам.

Я не ожидал от него такого. Но у нас слабо натренированы разговоры.

– У нас в последнее время были проблемы, – говорю я. Закуриваю. Даю знак, чтобы он все же дал мне тот напиток. На вкус он – как и на запах: бензин с сахаром.

– То есть ты тоже не сберег, – констатирует он.

– В некотором смысле.

Он выезжает на лесную дорогу, машина начинает подскакивать на выбоинах, я раздумываю, выдержит ли подвеска. Он останавливается. Выключает фары. Когда делает это, мы сразу оказываемся в темноте. Выходим наружу. Лес холодный, влажный, большой. Земля мягкая и мокрая. Я чувствую, как ботинки чуть погружаются в нее.

– Был другой чувак, – говорю я через некоторое время, не потому, что мне хочется поделиться этим с собственным братом, но потому что в горле снова выросла косточка и ее нужно сплюнуть, иначе я задохнусь.

– Охуеть. В смысле – печально, – говорит он.

– Я попросил, чтобы она осталась, – отвечаю я, сокращая все до одной фразы.

– Мы с Камилой просто не договорились, – тихо, словно сам себе, говорит Гжесь.

Я не чувствую облегчения. Упрекаю себя за это. Последнее, что мне сейчас нужно, это чтобы брат и отец плохо думали о Юстине, чтобы смотрели на нее, как на суку, тихо давали ей это понять.

– Не знаю. Мне кажется, что сейчас – важнее всего. Сейчас она – с тобой. Ты, как понимаю, это проглотил. Если проглотил, то высри и не жуй воздух, – говорит он.

– Это непросто.

– Наверняка. У меня есть дети. Это кое-что другое. Они со мной, когда только можно. Проблемы начнутся, когда они пойдут в школу. А может, пойдут здесь. Может, Камила вернется из Германии. Может.

– Хочешь сказать, чтобы я сделал ребенка? И это что-то исправит? – спрашиваю я.

До сих пор мы о таком не думали. Не предохранялись, не использовали резинок, не использовали таблеток, будет – значит будет, не будет – значит не будет. Я был староват, чтобы переживать из-за теста на беременность, но пока нам подходило, что мы вдвоем, что можем делать – типа – что хотим, где хотим и как хотим. Естественно, это неправда.

Это довольно глупая мечта: что ты, типа, можешь делать

что хочешь. Что хочет может делать только маленький ребенок. Может обрыгаться и вывалиться в грязи. Может за обедом совать себе макароны в нос. Может отравиться, и все его примутся спасать.

– Нет, так думать нельзя, – отвечает Гжесь. – Это глупо. Но знаешь, когда есть ребенок, уже никогда не станет так, что у тебя нет ничего. Мне кажется, это очень важно.

– Думаешь, у меня ничего нет? – спрашиваю я.

– Не знаю. Не знаю, старик. Откуда бы мне знать? – отвечает он вопросом.

Что-то гукает в лесе, далеко. Я даже не знаю, птица это или чей-то голос, голос того, кто нас заметил, кто хочет нам что-то сказать. Темнота густа, словно сироп, она начинает мне мешать, царапает под одеждой. На ровном месте поднимает давление. Город и свет вросли в меня глубоко.

– Ты ничего не знаешь. Я тебе не говорил, – спохватываюсь я через минуту.

– О чем? – спрашивает он.

– Ну, знаешь о чем. О том чуваке, – отвечаю я.

– О чем? – повторяет он.

Мы возвращаемся к озерцу, идем в сторону последней многоэтажки слева от рынка. Она точно такая же бесформенная и гадкая, как и десяток лет назад, у нее тот же темно-желтый цвет хозяйственного мыла. Я знаю пару человек, которые в ней жили, но сам там никогда не был. Недалеко, в паре кварталов, жил Трупак. Я проводил у него дни и вечера,

потому что его матери часто не было, уезжала в Германию прибирать квартиры. Отец съехал на другой конец Польши, а старшая сестра сидела во Франции с мужем, потому у Трупака хата постоянно была свободна. Мы часами играли в «Дюка Ньюкема» на компе, курили травку и слушали на разбомбленном магге тему из «Секретных материалов».

Гжесь останавливается у домофона, нажимает кнопку.

– Влезай, – говорит мужской голос.

Некоторое время я думаю о Карателе. Он был моим идолом. Даже не идолом. Был для меня кем-то вроде опекуна. Я каждый месяц с замиранием сердца ждал очередного выпуска его приключений. Когда же, наконец, получал, то читал его от корки до корки по десятку раз. В противоположность Супермену или Спайдермену, Каратель был серьезным чуваком. Мстил за семью, которую случайно убили во время стрельбы в Центральном парке. С того времени больше ничего не имело для него значения – только война. Он подходил к делу методично и справедливо. Убивал оптом. Не выказывал милосердия. Знал, что его война не имеет смысла, что никогда не закончится и ему не удастся перебить всех бандюков на свете, но он все равно ежедневно вел ее. Он был мудрецом. Знал, что смысл – в дороге, а не в цели. Напоминал в этом буддийского монаха. Всякий раз, когда я читал эти комиксы, чувствовал себя в безопасности.

Всегда, когда я нахожусь там, где быть не желаю, всегда, когда мне кажется, что придется защищаться от чего-то, все-

гда, когда я вхожу в место, где могут оказаться люди, которые считают меня врагом, или те, кого врагом считаю я, – тогда думаю о Карателе. И всегда, когда я о нем думаю, сразу задаю себе вопрос: нужно ли пережить трагедию, чтобы вообще научиться защищаться? Чтобы стать умелым? Жестким? Опасным? Не лучше ли прожить хорошую жизнь как фраер? И не было бы лучше – так я думал – оставаться мягким фраером, которого Каратель полюбил бы? Остаться в его тени? Не было бы такое лучшим вариантом? Быть таким слабым, мягким приятелем Карателя, которого тот просто уважает?

После выхода комикса Каратель снился мне ежедневно. В одном из снов он стоял передо мной без своего парадного костюма с черепом: был в белой футболке, курил сигарету и говорил, чтобы я успокоился, что эти гниды все равно меня одолеют, и единственное, что я могу сделать, это уйти и, уходя, насрать им на коврик. В другой раз молча дал мне пистолет.

Но это было давно. Теперь он уже мне не снится. Мои сны стали блеклыми и пустыми, словно старые слайды. Каратель покинул меня – и неудивительно. В его характере было делать то, что он делал, хотя это, в конечном счете, мало что меняло. Я не мог, не умел делать даже те вещи, которые изменили бы хоть что-то. Нормально. На его месте я бы тоже успокоился.

Квартира находится на первом этаже. От входа чувствуется запах вареной пищи и средства для хранения одежды.

В коридоре стоят, брошенные, пары ботинок. На стене – деревянные планки, туристический календарь, картинка с цветами. Слышен телевизор. Гжесь без вопросов входит в комнату, где на скаевском, большом, непропорциональном для квартиры диване, перед большим плоским телевизором сидит несколько человек. На столике лежат чипсы, стоит пиво. Комната обставлена дешевой мебелью из ДВП, на них громоздятся десятки фиготеней, бутылок от виски и духов, плюшевых мишек, отпускных фоток в рамках в форме сердечек. «Это тут делают все снимки на nasza-klasa.pl ²⁵, именно в этой квартире», – думаю я; только через минуту понимаю, что так выглядела большая часть квартир в Зыборке, когда я еще тут жил.

– Григорий, мрачный как горы, – говорит полноватый, стриженный под горшок парень в пастельном свитере и черном спортивном костюме. Он же – на одном из отпускных снимков, стоит в плавках рядом с мощной, загорелой до темной бронзы девушкой, опирающейся о спортивную машину. Теперь он встает и приветствует меня и моего брата.

– Это мой брат, Миколай, – говорит Гжесь.

– Сема, – говорит парень, даже на меня не глядя.

В комнате еще две молодые девушки в ярком макияже, в тесных платьях и кружевных блузках. Одна из них непрерывно говорит что-то другой, обе еще не заметили, что мы вошли.

²⁵ Польский сайт, соответствующий русскоязычному «Одноклассники. ру».

– Ну, типа, говорю, выходи из комнаты, выходи, сука, я хочу одна побыть, знаешь, поглядеть телевизор, она спрашивает, а что будешь смотреть, ну и я уже тогда с тормозов, сука, говорю ей, не знаю, сука, просто хочу посидеть одна, что ты тут сидишь все время, давай свали, она мне, что хочет поговорить, хочет поговорить обо мне и Лукаше, а я ей говорю, да какое тебе дело до него? Что, проблемы у тебя с ним? Что он, мешает тебе?

Потом прерывает себя, обе поворачиваются в нашу сторону и окидывают нас тем самым спокойным взглядом, которым, вероятно, окидывают весь знакомый им мир.

Через какое-то время они возвращаются к телефонам в розовых чехлах, что держат в руках. Рядом с ними в кресле сидит еще один парень, худой и дерганый, в спортивной куртке, грязной красной бейсболке и в мешковатых джинсах. У парня постоянно работает нога, он отбивает ею быстрый, синкопированный, известный только ему ритм. В телевизоре крутится музыкальный диск, молодой цыган в позолоченной кепке поет о свободе, которую дает ему моторизация, парень глядит на экран широко открытыми глазами, словно в тексте песни скрыт шифр, в существовании которого он уже уверен, но еще не научился его читать.

Я сажусь на один из свободных пуфов, вынимаю из рюкзака пиво.

– В гости приехал? – спрашивает парень в свитере, кивая на меня.

– Нет, навсегда, – отвечает Гжесь.

– Навсегда? – парень фыркает, теперь говорит со мной. – Ебанулся?

– Наверное, – отвечаю я, одна из покрашенных девиц закатывает глаза. Словно мне шестьдесят и по моему подбородку течет слюна. А может, это единственный жест, который ей знаком.

– А где Чокнутый? Второй день его ищу, – спрашивает Гжесь. Банка пива в его руке издает тихий щелчок. Толстый тычет пальцем на бутылку на столе. Гжесь качает головой.

– Наверняка с парнями. С Порчиком, – говорит худой.

– И что? Зависают? – спрашивает Гжесь.

– И Лукаш. Лукаш с ними на сотке тоже, – говорит вторая девица.

– Да харэ. Может, ему тоже охота побыть самому? – спрашивает первая.

– И отчего бы, нахер, ему такое хотеть? – спрашивает вторая.

– Потому что у него русские брата похитили? Он переживает. Это сложно, – говорит первая.

– Да хуй там он переживает. Ничего он не переживает, – отвечает вторая, закидывая ногу за ногу. Она некрасивая, почти без бровей, резкие черты лица, нос – словно птичий клюв, тонкий и писклявый голос, прогибающийся под произносимыми словами.

– Что тебе надо от Чокнутого? – спрашивает толстяк.

– Он должен был зависать тут, сказал, что придет, – отвечает Гжесь. – Мне с ним нужно поболтать. Есть к нему дело.

Худой лупит ладонью в стол, подпрыгивают пустые рюмки, толстый смотрит на него осуждающе.

– Давай, сука, покури травку, – говорит ему.

– Кстати, да, дайте-ка курнуть, – говорит Гжесь и улыбается. Оглядывается и подмигивает мне.

– Сука, он даже не пишет, – говорит вторая девица.

– А ты с братом Мацюся? – спрашивает Гжесь.

– А что, сука? – отвечает девушка.

– Сабина, верно? – спрашивает он снова, скалится ей.

– Эй, ты чего от меня, сука, хочешь? Чего от меня хочешь? – девушка наклоняется вперед, дрожа от ярости, словно хочет встать и ударить его.

– Расслабься. Что это тебя так вставило? Стоит заглянуть к доктору, – говорит Гжесь, встает и берет из пачки чипсы.

Я не обитатель этой реальности. Между мной и этим местом – прозрачное, а порой и матовое стекло. Именно это и хотел сделать Гжесь, хотел это мне показать. Я тут совершенно чужой. Я тут, потому что у меня нет никаких лучших вариантов, потому что совершенно некуда пойти. Ну, пусть так.

Худой парень вынимает из кармана сверточек алюминиевой фольги и дешевую цветную стеклянную трубку для травки. Последний раз я курил из такой в школе.

– А вот захочет ли говорить с тобой Чокнутый, Григорий,

мрачный как горы? – спрашивает толстый. Худой набивает трубку травкой из сверточка. По комнате разносится резкий запах, немного химический, словно очистителя для труб.

– Не говори так со мной, – говорит Гжесь. – Не советую.

– Ты мой гость, – напоминает ему толстяк.

– Значит, Рымек, уважай меня, угости как-то, сука, – говорит мой брат, все еще смеясь. В его глазах что-то поблескивает: слабая, странная звезда.

– Будешь бигос? – спрашивает Рымек. – Дам бигос, – поворачивается к двум девицам. – Принеси ему бигос, – говорит той, что слева, покрасивей, не такой кислой, машет на моего брата.

– Сам ему, сука, неси, – отвечает девушка.

– Помнишь его? – спрашивает брат, тыча в меня пальцем.

– Та да, – говорит без малейшего чувства толстый.

– Чокнутый с Кафелем, вам в «Андеграунд» нужно ехать, – худой подает мне стеклянную трубку, я затягиваюсь, дым терпкий и химический, плохой, я выпускаю его носом и передаю трубку дальше.

Стекло между мной и остальными запотеваает. У меня сухо во рту. Вся четверка обрастает стеклянной броней. Смотрят на меня как на странного зверя, который должен был прервать их скуку, но после его прихода они заскучали еще сильнее. Теперь прикидывают, не подвергнуть ли меня пыткам. Толстяк чем-то похож на Нерона. Он, этот дым, это курево, действует моментально. Ты ведь не должен принимать

никаких наркотиков, Миколай.

Люди чувствуют, когда ты их презираешь. Ловят это ментально, как ловят дрейфующие в воздухе пушинки. И знают. Тебе стоит перестать. Тебе стоит принять, полюбить, сделаться теплым и сердечным, может не как Иисус, потому что это невозможно, но хотя бы просто теплым и сердечным.

Я осматриваюсь. Между бутылкой «Чивас регал» и оправленным в рамку снимком красного «Феррари Тестаросса», лежат несколько книг, которые я замечаю только сейчас. Ополаскиваю рот пивом. На вкус оно – словно кормежка для свиней, разведенная водой.

Биография Месси, второй том «Потопа», первый «Миллениум», Маса и его «Машины польской мафии», путеводитель по Тунису с наполовину оторванным корешком. И вот. В самом низу. Как дурацкая шутка. Оранжевый корешок, черные буквы без засечек.

Миколай Гловацкий, «Черная холодная вода».

– Как там твой старик? – спрашивает Рымек.

Гжесь пожимает плечами. Оглядывается, видит, что я смотрю на книги.

– Чего спрашиваешь? – отвечает вопросом на вопрос.

– Потому что, сука, Худой работу ищет, – Рымек тычет рукой в парня, который сейчас притопывает уже двумя ногами.

– Меня из магазина нахуй выкинули, – говорит Худой.

– А что ты делал? – спрашивает Гжесь.

– На охране стоял, – говорит Худой, а Гжесь еще раз окидывает оценивающим взглядом его фигуру и смеется:

– Но что ты сделал, что тебя нахуй выкинули?

– Из магазина сигареты и водку пиздил на торговлю, – отвечает он. – Посчитали, увидели на камере, ну и – нахуй.

Я хотел бы взять книгу в руки и посмотреть. Но тогда они поймут, что это – я. Может, не секут, что это – я.

– У отца сейчас, кажется, комплект, – Гжесь кивает, все еще веселясь, потом замечает, к чему я присматриваюсь на самом деле.

Кто-то стучит в дверь. А может, это кто-то из них ударил в стену, в стол. Нет, кто-то стучит в дверь.

– Твоя книжка, – говорит Гжесь, словно бы безразлично.

– Какие-то добавки? – Я трогаю губы. Будто не пил уже несколько дней. Делаю еще глоток пива. Не действует. Слово оно из пара. Мне никто не отвечает.

– Что это? – спрашиваю я.

– Курево, – отвечает Худой.

– Его книжка, – Гжесь показывает пальцем на полку с книгами.

– А, это ты написал? – спрашивает меня Рымек. На его лице проступает туманный интерес. Я осторожно киваю.

Кто-то снова стучит в дверь, потом еще раз.

Это я написал. Это требует определенных объяснений; вроде бы объясняются одни виноватые, но – попытаемся. Каждый хочет сравнять счет обид. Каждый хочет, чтобы ему

заплатили то, что должно. «К отчизне есть счета обид»²⁶, сука, у меня болит голова, справа. Я кладу на нее ладонь. На то место, которое болит. Не помогает. Ладонь теплая, теплее головы. Кстати. Еще пива. Слегка сбить давление, хоть немного. Девушка справа жует теперь жвачку так сильно, что сейчас и я начну жевать свое лицо. К сути. Книжка. Если ты не Каратель, если старики делали все за тебя по звонку, но теперь телефонные жетоны закончились, приходится как-то справляться самому. А ведь каждый хотел бы отомстить за те жуткие вещи, что с ним случались. Ты – тоже. Ты тоже хотел отомстить.

– Иди, сука, открой, – говорит Рымек девушке, которая сидит справа.

Когда я жил в Зыборке, я ненавидел Зыборк. То есть не с самого начала. Когда я был поменьше, а Зыборк – побольше, Зыборка мне хватало и он даже мне нравился. Может потому, что никак было не сравнить его с чем-то другим. Впрочем, я ведь жил тогда в своей голове. Но примерно с четырнадцатого года жизни, примерно с того момента, как мой отец не согласился, чтобы я уехал в Олыштынский лицей, я начал ненавидеть эту сучью дыру – ненавидеть так, как ничто другое в мире. Я хотел ее сжечь. Хотел, чтобы напали гитлеровцы. Хотел, чтобы ее поглотило землетрясение. Курил травку и фантазировал о самолетах, которые сбрасывают град бомб на ратушную площадь Зыборка, на городскую

²⁶ Цитата из стихотворения В. Броневского «Примкнуть штыки!».

управу, на замок, на базар, на больницу, лицей и костелы.

Сперва даже не шла речь о чем-то конкретном. То, что существовали другие, чем Зыборк, места, те, где жизнь была лучше и интересней, а люди достойны любви и понимания – это был факт. Я и пара моих приятелей и приятельниц этими фактами особо не заморачивались, большую часть времени мы вообще не заморачивались, главным образом мы пытались это время убить, напиться, вштыриться, курнуть, побить, вылизать, сблевать, сказать или сделать что-то идиотское. Рискнуть жизнью, или, по крайней мере, средним образованием.

Но были и моменты, долгие, особенно ночью, поздней весной и ранней осенью, когда мы встречались на природе, потому что ни у кого не было денег пойти во «Врата», садились на ж/д-станции или на крыше школы, или где-то еще, на газоне, в гаражах, среди бычков и стекла, и куда бы мы ни смотрели, видели только огни фонарей, а порой пару звезд. В такие моменты факты уступали место воображению. Трава раздувала страхи, как бензин, если плеснуть им в огонь. Я прекрасно помню его, этот страх, который внезапно одолевал меня и перехватывал горло так сильно, что я молчал и боялся, что буду говорить как Дональд Дак: страх, что кроме Зыборка ничего не существует.

Что между школой, больницей, гаражами, замком, нашими домами и кроватями мы проведем не просто всю жизнь – проведем всю вечность.

Вечность в Зыборке. Только представь себе.

А потом, на краткий миг, я был в Зыборке счастлив. И даже особо не боялся того, что кроме Зыборка на самом деле ничего нет, потому что на краткий миг в нем и во мне все было на своем месте.

А потом – Зыборк забрал это у меня. Заборк забрал у меня Дарью. В возрасте девятнадцати лет наша душа еще ничем не крепка, она не покрыта никакой тканью. Очень легко до нее добраться и полностью уничтожить.

Только тогда я начал ненавидеть Зыборк. Предельно. Изю всех сил. Так сильно, что решил и правда его уничтожить, отомстить. Сжечь, сровнять с землей. Но в отличие от Карателя у меня не было ни бомбы, ни гранаты, ни единого крохотного ствола.

Пиво, в конце концов, принялось сражаться с тем, что я выкурил, усыпляя, снижая давление. Это хорошо. Я смотрю на Гжеся. Он скалится мне, симулирует смех. Думает, что я просто нервничаю. Гжеся это неизменно веселит. Это у него от отца. Причем отец сам не умеет смеяться, он веселится внутренне.

Девушка встает, идет открыть дверь.

Сразу слышно, как начинает с кем-то ссориться, с тем, кто снаружи.

– Привет, – чувак, который входит внутрь, еще толще, чем хозяин. Он смугл, с коротко стриженными волосами. Напоминает мне кого-то.

– Ну и где ты был? Где ты, сука, был?! – орет на него та девушка.

– Привет, Лукаш, – говорит Гжесь.

– Что с твоим братом?

– Пиздец с моим братом, – отвечает парень.

– Найдут его, не бойся. Он твердый сукин кот, твой брат, – говорит Гжесь.

– Сам знаешь, какой твердый, ты ж его кусал по малолетке, – напоминает Рымек.

– Та нахуй. Не о чем говорить, – говорит Лукаш, все еще стоя в дверях; слова, которые он проговаривает, тупы, сглажены, тяжелы, напоминают грязные камни.

– Ты ж хотя бы написать мог. Почему не написал? Ну, скажи?! – кричит девушка. Упирает руку в худое бедро, играет голосом. Просто играет.

Лукаш не проявляет никаких эмоций. У него широко открытые глаза, на лице – слой пота, кажется, его заморозили в этом виде пару лет назад, в миг, когда он сдал экзамен в гимназии. Но потом он отталкивает кричащую девушка под стену, сильно. Глухой удар прерывает ее монолог. С этого мгновения она начинает тихонько всхлипывать.

– Заткни, сука, свою ебаную пасть, – говорит Лукаш.

– Ты, писатель, как оно тебе? Классный кипеж из книги получился, а? Я, признаюсь, не читал, – говорит Рымек.

– Классный, – киваю я.

Я написал эту книгу во время учебы в Варшаве. О самой

учебе особо и не расскажешь. Межфакультетские гуманитарные курсы, на них училась, вместе со мной, группа художников, писателей, культурных антропологов, киноведов и прочих молодых гениев, на фоне которых я чувствовал себя толстым, недоразвитым ребенком в калошах, стоящим на воротах. Естественно, на самом деле все они были стадом претенциозных баранов. Но это не меняло тот факт, что я, беглец из Зыборка, чувствовал себя еще хуже их.

Кстати сказать, и не соображу даже, как я попал на эти курсы. Я всегда любил читать, всегда помнил побольше, чем, как мне казалось, я запомнил. Всегда любил писать и рисовать комиксы. Была у меня неплохая память на фамилии. Как-то оно и пошло.

Я всем рассказывал о Зыборке. Это был мой патент на то, как добиться их расположения. Я рассказывал о том ужасном месте, откуда я родом. О странном мазурском загопье, в котором все молодые люди из-за отсутствия лучшего занятия закидываются наркотой, поскольку знают, что впереди их ждет выезд на заработки мойщиком окон либо работа на мебельной фабрике. О безумных похитителях машин, о снайперах на крышах, о барах с пивом и призраками, о танках, утопленных в озере. О том, как жутко убили мою – строго говоря, на тот момент уже бывшую – девушку.

И все эти люди, все эти будущие министры культуры, и директора театров, и именитые писатели, процентов на девяносто коренные варшавяне, с которыми я все смелее выпи-

вал, все смелее улыбаясь присутствовавшим там девушкам, люди, сидя с которыми я все громче высказывал свои суждения (тогда мне казалось, что это было важным), все эти люди говорили мне: старик, напиши об этом книгу.

То, что происходит в твоём городе, – невероятно.

Вот я и написал книгу. За две бессонных недели, на стареньком компьютере, в съёмной комнатухе на Праге, там, где кроме меня жила девушка, работавшая в банке, и некий социопат с первого курса политеха. Квартира принадлежала приятелю отца, которого я в глаза не видывал. Я съехал оттуда, едва заработав первые деньги. Оглядываясь назад, могу сказать, что денег было много.

Потом я давал почитать книгу нескольким людям, которые говорили одно и то же. Это невозможно. Это жутко. Как так можно. Ну что ты. Это невероятно. Ты должен это издать. Ты должен это издать, повторила девушка, у которой уже были две изданных книги и которую я отчаянно пытался затянуть в постель, а потому я понес книгу в издательство. Издательство называлось «Перископ» и располагалось в квартире жилого дома. Главной там была одинокая литературная критикесса лет пятидесяти. Ранее она издавала эссе о Флобере и томики стихов своего отца, профессора-пенсионера Варшавского университета. Помню, я оставил ей распечатку в конверте, на коврике, а она позвонила мне через два дня.

– Это яростно, уровень Воячека ²⁷, это как пинок, – ска-

²⁷ *Воячек Рафал Миколай* (1945–1971) – польский поэт и писатель, извест-

зала и спросила: – Мы можем перейти на ты?

– Да, прошу вас, – выдавил я в ответ.

Не знаю, какого качества была моя книга. Но на пинок она походила наверняка. Естественно, многое в «Черной холодной воде» было преувеличением. Кое-что я даже полностью выдумал. Насколько знаю, в Зыборке не было ксендза-педофила. Еврейское кладбище, насколько мне помнится, было лишь некоторым количеством зияющих в земле, заросших дыр, где не осталось и половины мацевы ²⁸, а потому даже если мы и пили там дешевые вина, то профанировать там было нечего и негде было рисовать свастики.

Смерть Дарьи была жутким инцидентом, но Дарья не умерла при молчаливом согласии городского сообщества, как цыганская девочка в моей книге. Мой брат наверняка не принимал героин, который позже начал принимать именно я. Мой отец не мучил меня ради забавы стальным прутом и не приказывал моему младшему брату собственноручно убить кошку с котятами. И так далее, и так далее.

Много чего в моей книге не было на самом деле, но, несомненно, совпадало вот что: название местности, географическое положение, мое имя и фамилия.

ный своими депрессивными стихами и описанием мерзостей повседневного существования. Страдал алкоголизмом и депрессивными расстройствами, покончил жизнь самоубийством.

²⁸ В еврейской культуре – надгробие на могиле; первоначально – каменный столб или плита, поставленная в ознаменование договора союза (в том числе и с Богом).

В короткие минуты сомнений я говорил себе: о'кей, Косинский отчебучил номер с «Раскрашенной птицей»²⁹, и это тоже была месть, не имело значения, что на самом деле та семья его прятала, а потом пришла на его авторскую встречу, а он смог посмотреть им в глаза.

Я не предвидел, что «Черная холодная вода», несмотря на отсутствие любого продвижения, благодаря одному «сарафанному радио», продается тиражом почти в сто тысяч экземпляров. Что получит несколько наград. Что будут проданы права на ее экранизацию и что через пару лет снимут и сам фильм, в котором главную роль – то есть меня – сыграет невероятно популярный молодой актер, с виду напоминающий некрасивую девушку.

Не предвидел я также и того, что ее прочитает весь Зыбрук. Моя мать, мои тетки, моя бабушка, мой отец, мой брат, мои приятели, девушки моих приятелей, мои учителя.

Что у каждого будет что сказать на эту тему, что каждый будет зол.

Тогдашний мэр даст специальное заявление для прессы о том, как сильно я опорочил и оплевал маленький прекрасный город, который произвел меня на свет.

Репортер «Жечпосполитой» приедет к моим родителям,

²⁹ Автобиографический роман Е. Косинского «Раскрашенная птица» был посвящен его детским воспоминаниям о Второй мировой и рассказывал о тяжелой судьбе мальчика-еврея в польской деревне; на самом деле его жизнь под немецкой оккупацией была не настолько ужасна и безысходна, как она изображена в романе.

чтобы прояснить «ложь в клеветническом романе сына», и мой отец бросит в него стеклянной бутылкой от молока, едва тот выйдет из машины.

Я не предвидел, что мой отец совершенно перестанет со мной общаться, более того – что напишет простую эсэмэску, в которой проинформирует, что мне больше незачем приезжать домой.

Я не предвидел, что начну получать е-мейлы и звонки с угрозами.

Я не предвидел, что тремя месяцами позже моя мама в магазине у дома забудет, где находится и как ее зовут, а потом доктора глянут на ее мозг и найдут там кое-что плохое.

Я не предвидел всего этого, потому что не слишком об этом задумывался, поскольку сразу после выхода книги начал жить совершенно новой жизнью, ясной, и лишь слегка затуманенной и сверкающей; жизнью, в которую я не до конца мог поверить, жизнью, в которой банкоматы непрерывно выплевывали деньги, чужие девушки в кабаках хватили меня за руку и тянули в туалет; жизнью, в которой не было никакой экстравагантности в том, чтобы заказать себе в четыре утра ящик шампанского и такси на мост Понятовского.

А потом начались проблемы, но это совершенно другая история.

– Ой, я помню этот скандал, – говорит Рымек. – Все хотели тебя отхреначить, все как один. Мой отец хотел тебя отхреначить. Страшно шумел, что сопляк Гловацких... Мать

прописала ему успокоительные.

– Но ведь прочитал, – говорит Гжесь.

– Прочитал, – кивает Рымек. – Он в жизни, кажись, только две книжки и прочитал: эту и «Алфавит» Урбана ³⁰.

– Это тот? – спрашивает Лукаш.

Я слишком устал, слишком пьян и слишком накурен, чтобы беспокоиться. Девушка сидит под стеной, вжимая лицо в колени. Никто не обращает на нее внимания.

– Зависит от того, о чем ты, – говорит Рымек.

– Неважно, – отвечает Лукаш.

– Мы тут о книгах, это сложные для тебя штуки, Лукаш, – говорит Гжесь.

– Да нахуй книжку. Фильм был лучше. А ты тут вообще – с хуя ли? – спрашивает он моего брата.

– Думал, что Чокнутый будет здесь. У меня к нему дело, – отвечает тот.

– Чокнутый в «Андеграунде», – потягивается Лукаш. – И, кажись, ждет тебя.

– Нам обещали бигос. Мы голодные, – скалится мой брат.

– Сука, давай быстренько, принеси ему этот бигос, – говорит Рымек девушке, та, перепуганная, сидит рядом и глядит в свой телефон.

Девушка встает, идет на кухню. Ее подруга, сидящая под

³⁰ Книга журналиста Ежи Урбана (бывшего, кроме прочего, в 1981–1989 годах пресс-секретарем правительства ПНР), в которой он сатирично и нелицеприятно изображает политиков Польши; книга вышла в 1990 г.

стеной, тоже встает и надевает куртку.

– Куда, сука, собралась? – спрашивает Лукаш.

Девушка не отвечает, только тихо всхлипывает. Делает в коридоре еще что-то – недолго, – а потом выходит и закрывает за собой дверь.

– Думаешь, тут все еще есть те, кто хотел бы тебя отхреначить? – спрашивает Рымек.

Гжесь раскуривает еще одну сигарету. Никуда не торопится.

– Не знаю, – отвечаю я. – Это тебе лучше знать.

Это забавно, я не знаю, это пиво или трава, но я его вообще не боюсь, хотя еще пару лет назад, приезжая в Зыборк, не выходил из дома отца, боясь встретить хоть кого-то. Просто представив себе такую встречу, я чувствовал, как температура моего тела снижается на пару градусов.

Хочу выйти на свежий воздух, хочу пойти домой. Не хочу, чтобы Гжесь втягивал меня в свои дела. Не хочу его дел. Не хочу дел Зыборка.

– Наверняка пара таких нашлась бы. Люди и правда рассердились на тебя, в натуре, – отзывается Рымек.

– Так позови их сюда, – отвечаю я ему, а вернее, это делает кто-то вместо меня. – Так позови их, я ведь – здесь.

Они смотрят на меня некоторое время, словно не поняв, что я говорю.

– Кого позвать? – спрашивает Лукаш.

Девушка возвращается из кухни. Садится, где сидела.

– Ничего нету, – отвечает. – Не знаю, где он.

– Спокуха, – говорит Рымек. – Спокуха. Все путем.

– Ну, раз нет бигоса, сходим-ка мы в «Андеграунд», – говорит Гжесь и встает. Я тоже. Иду в сторону коридора.

– Да мне, если честно, все равно, я этого даже не читал, только фильм видел, как и Лукаш, но кто-то – наверняка помнит, – говорит Рымек и тоже встает.

– Если увидишь эту дуру, то скажи ей, чтобы возвращалась, – Лукаш тупо пялится на то место, где я минуту назад сидел.

– А позвонить? – спрашивает Гжесь.

– Типа мне этой пиздёхе звонить? – отвечает Лукаш.

– Кто-то точно помнит, – повторяет Рымек. Его тон говорит, что повторяет он это лишь ради самого повторения, он уже забыл, о чем речь.

Мы выходим на улицу. Воздух резкий, но все равно как будто из клея, я двигаюсь медленно и тяжело, мне кажется, будто хожу по колени в воде.

– Что они курят? – спрашиваю Гжесь.

– Да он просто дурака валял. Поехали в «Андеграунд», – говорит он.

– Я иду домой, – отвечаю.

– Сука, ну когда мы в последний раз проводили время вместе? – спрашивает он меня. – Вот так просто?

Я опираюсь на машину. Смотрю на него. Чувствую, как поднимается ветер. Это хорошо. Выдует из меня все это

СВИНСТВО.

– Давным-давно, – отвечаю я.

– Давным-давно, – повторяет он и добавляет: – Пошли. Не выделывайся.

У меня нет сил ему отказать. У меня нет сил лежать рядом со своей женой в чужом месте и представлять, как ей вставляет старый, богатый чувак, который, непонятно отчего, в моем воображении имеет лицо Косинского. Я сажусь в машину. Знаю, что больше мне ничего не сделать. Знаю, что выхода – нет.

– А ты бы меня отхреначил? – спрашиваю я. – За ту книжку?

– Я ее не помню, – отвечает он и заводит машину.

– Не помнишь?

Гжесь останавливается неподалеку от двухэтажного дома, в пяти шагах от ратушной площади. Под домом толпятся какие-то люди, на втором этаже – огни, на улицу вылетает глухой ритм дэнс-музыки. Когда мы останавливаемся, кто-то сразу же паркуется рядом, с визгом давя на тормоза. Гжесь оборачивается, глядя, кто это. Когда узнает машину, кивает. Я даю ему на глоток пива.

– Ты знаешь, зачем я это сделал. Знаешь, что случилось, – говорю я, и вдруг на меня опускается тень той черноты, след тех эмоций, словно кто-то зажал голову в тисках.

Он молчит, закуривает, смотрит на меня, до конца не понимая, какое выражение лица выбрать, а потом говорит:

– Это уже не имеет значения, Миколай. Имеет значение только завтра.

– Лучшее завтра было вчера, – отвечаю я произвольно.

– Ебать сучек и полицию, – говорит он, пофыркивая смехом, и, наконец, выходит из машины.

Из автомобиля рядом – темно-синего БМВ – вылезают двое парней в джинсовых куртках и с зачесанными в пробор волосами. Выглядят как близнецы. У них быстрые, нервные движения, они осматриваются, словно в поисках того, кто мог за ними ехать. Подают Гжесю руку.

– В «Андеграунд»? – спрашивает одного из них Гжесь.

– Нет, в костел, – отвечает тот.

– Пошли, – Гжесь машет, чтобы я шел следом.

– Малолетки внутри, – парень из БМВ ухмыляется.

– У него жена, – Гжесь показывает на меня.

– И что – «жена»? – отвечает тот.

Я, несколько машинально, иду с ними внутрь, прохожу мимо стоящих у входа дуриков, сосущих пиво, показывающих друг другу что-то в телефоне – вроде бы как машина делает «бочку». На меня не смотрят.

Лестничная клетка покрашена в темно-коричневый. Когда я жил в Зыборке, это место звалось «Кафе Презент» и было чем-то вроде «Хортекса»³¹, где подают султанский крем и мороженое в грязных вазочках, оранжад и раствори-

³¹ Польская компания по производству замороженных продуктов – и сеть магазинов и кафе, ей принадлежащих.

мый кофе. Потом оно стало одним из дел Мацюся, который сократил название до «Презента» и превратил кафе-мороженое в дискотеку. Я ходил сюда не слишком часто – риск отхватить в морду, едва поздоровавшись, был слишком велик. Помню, как охранники раз спустили Трупака с лестницы только за то, что тот попросил какую-то девушку станцевать с ним.

На лестнице, как немой эскорт, стоят главным образом ребята в пуловерах каро и в рубашках из «Зары», с прическами типа «молодой повстанец», пара толстяков за тридцать, девушки, похожие на тех, которых я видел в квартире Рымека, или еще более молодые их версии, пьющие разноцветные дринки из стаканов с трубочкой. Все они более или менее пьяны. Им скучно. Взгляды их подозрительны и пусты. Они словно маленькие зверьки, запертые в подвале. Там у них дом, но до них доносятся звуки снаружи. И эти звуки их раздражают. Они переполнены гневом и скукой, те капают из их тел на пол.

Девушек покрасивее охраняют, четко видна граница – они уже «присвоены»; при ограниченном пуле генов хороший их набор – на вес золота. Я не узнаю никого. Никого из тех, кого я мог бы знать, тут нет.

Вспоминается, как на учебе я поехал в Албанию и пил там ночью на каком-то обшарпанном вокзале спирт из банки с чуваком, который расспрашивал, знаю ли я лично Леха Валенсу, потому что – он написал ему письмо, чтобы тот при-

ехал в Албанию и сделал здесь то же, что и в Польше – то есть навел порядок.

Там, на вокзале в Албании, я чувствовал себя немного так, как сейчас. Непрошенный гость в чужом сне.

Мы поднимаемся на второй этаж. Перед входом я замечаю старую, ободранную железную вешалку для одежды – под стеной, в углу.

Прославленная вешалка, на которой повесили за ворот рубахи бывшего мэра Зыборка, Кудневского, когда он, насосавшись до синих чертей, пытался заставить диджея отдать ему микрофон. Кудневский хотел произнести речь пьяной молодежи, чтобы та отправлялась домой.

– Памятник? – спрашиваю я.

– Мало кто по нему тоскует, – отвечает Гжесь.

– Отец не тоскует? – спрашиваю снова.

– Давай, сука, без политики, – отвечает он и исчезает в толпе.

Темная зелень, розовые и фиолетовые отблески танцуют в воздухе; вместо стойки с десертами половину зала теперь занимает длинный алюминиевый бар с элементами из белой резины, подсвеченный флуоресцентным светом. На стене портреты мужиков на «харлеях» и снимки молодых из календаря Пирелли – помню, во времена Мацюся там висел плакат второй части «Терминатора». В углу стояли настольный футбол и автомат «Стрит Файтера» – теперь их заменили другие игральные автоматы. Над паркетом уже не кру-

тится дискотечный шар, по нему просто бессмысленно брызжут разноцветные огни. В углу машина задымления то и дело выплевывает из себя белое, густое облако. Несколько еще слишком трезвых, неловких молодых телочек подпрыгивают в техно-ритмах; подле них подпрыгивают, заходя со стороны, несколько еще более неловких парняг в рубашках в клетку и в очках.

В глубине зала – линия длинных деревянных скамеек, над которыми висит белое одеяло сигаретного дыма. Там сидит несколько человек примерно моего и Гжеся возраста или чуть старше; большинство из них молча глядят в свое пиво, пара-тройка о чем-то живо спорят. Огоньки сигарет в руках напоминают светлячков. Не помню, когда я в последний раз ходил в кабак, в котором можно было курить.

И только потом я замечаю чувака с длинными, прореженными волосами, который сбоку, у стены, чуть раскачивается на пятках, словно бы и под музыку, но будто и рядом с ней, чувака, одетого в жутко старую куртку от тренировочного костюма, чувака, который телепортировался сюда напрямик из тысяча девятьсот девяносто седьмого года. Чувака, которого я прекрасно знаю.

– Это Коля? – спрашиваю у Гжеся.

– Ага, ему, похоже, снова чуть поплохело, – отвечает он.

Коля был панком и чудаком. Я помнил его, как он неподвижно сидел часами на лавке неподалеку от ратуши, держа в ладонях старые книги НФ. Помню и то, как он молча стоял

под стеной во «Вратах», бесконечно посасывая единственное пиво. Говорил он немного, часто – вещи непонятные, но я его любил. Он был хорошим человеком. Производил впечатление парня с горячим сердцем. Вроде бы однажды спас ребенка от несущейся машины и с того времени чуть прихрамывал.

Однажды Коля просто исчез из Зыборка. Даже попал в список пропавших без вести. И когда все уже думали, что Коля мертв, что – испарился, что, может, через год-другой его тело найдут замерзшим на чужом вокзале в другом конце Польши, когда его мать была уже готова похоронить сына, он вдруг появился на зыборской ратушной площади посреди морозного января в трениках и куртке и, словно бы ничего не случилось, вошел в квартиру своей матери, как раз на воскресный обед. У той при его виде – буквально – остановилось сердце.

Но Коля вернулся другим, не в комплекте. Только через месяц после возвращения удалось вытянуть из него, где он, собственно, был. Утверждал, что хотел поехать в Катовице на концерт Nomeansno³², но перепутал поезда и в результате оказался в Низких Бескидах³³. Примерно год сидел там с местными в доме без электричества и водопровода. Каж-

³² Известная канадская музыкальная группа, играющая экспериментальный панк.

³³ Горный массив на юго-востоке Польши – в противоположной стороне от Катовице.

дый день они пили отвар из псилоцибов. Через год половина Коли настолько выросла в лес, землю и траву, остановившись в той самой вечности, где танцуют духи животных и память деревьев, что в Зыборк вернулась лишь вторая его половина, одетая в спортивки и рубаху.

Коля здесь – но его нет. И не думается, чтобы он был хотя бы где-то.

Гжеся всасывает в себя бар, у которого сидит пара широких, лысых волчар, лениво разлегшись за столиком, опираясь локтями об алюминиевый прилавок. Я узнаю среди них Чокнутого, который спорит с кем-то, кто повернут к нам напоминающей входные ворота спиной, обтянутой черной футболкой. Видно, что Чокнутый прибавил годков. Алкоголь расширил ему лицо, выкрасив красным. Волосы, некогда длинные, острижены под ноль. Под фланелевой рубахой он носит футболку AC/DC, у него кожаный браслет. Гжесь машет ему рукой. Вижу, что увидев его, Чокнутый кивает. За баром стоит девушка с черными кудрявыми волосами, собранными в кок, в серой блузке и джоггерах, она наблюдает за залом с вниманием маленького, затаившегося зверька. Она кажется знакомой, но тут, если честно, все кажется знакомыми.

Я иду за Гжесем. Мои ботинки на миг исчезают в дыму, выплюнутом машиной. Никто на нас не смотрит. Парни на паркете слишком заняты тем, что смотрят под ноги девушкам. Песня меняется на польский рэп или на что-то вроде

польского рэпа; рефреном к этой чумовой песне некий отлетевший мужик орет о гоу-гоу и о пизде над головой. Образ невнятной, повисшей над головами пизды прибавляет парням смелости, они быстро приближаются к девицам и пытаются их приобнять – при усталом согласии тех, – имитируя фрикционные движения. Несколько других девушек в коротких блузках и длинных кожаных «казаках», натянутых на джинсы, начинают подпрыгивать в кругу и орать рефрен.

– Грегор, – говорит Чокнутый.

– Привы, – отвечает Гжесь и тычет в меня пальцем.

– О, сколько лет, – говорит Чокнутый и жмет мне руку. –

Ты, сука, изменился, малой.

– Потолстел, – кивает мощный, квадратный, исчерканный морщинами мужик неопределенного возраста, тот, со спиной, как ворота. На натянутой черной футболке у него какая-то надпись готикой, подчеркнутая полосой кельтских мотивов. Его я тоже откуда-то знаю. Но только через секунду он скалит зубы в чем-то, напоминающем кривую ухмылку, я вижу знакомую щель между передними зубами – и узнаю, кто это.

Со времени, когда я видел его в последний раз, Кафель, должно быть, прожил пятнадцать жизней. Рядом с ним сидит ненамного меньший, сбитый и валунообразный мужик в мотоциклетной куртке и с короткими, блестящими от геля волосами. Его я тоже узнаю, но только потому что догадываюсь, потому что он тоже ничем не напоминает самого себя –

это правая рука Кафеля, Порчик.

Интересно, Кафель до сих пор лупит Порчика кулаком в голову, чтобы убить время, когда больше нечем заняться?

– Мы, Гжесь, как раз разговаривали с Кафелем о тебе, – говорит Чокнутый, а потом наклоняется за бар к девушке с испуганными и чуткими черными глазами и показывает пальцем на бутылку водки.

Девушка берет водку, ставит перед нами четыре рюмки, наполняет алкоголем.

– Дай еще что-нибудь на закусон, – говорит Чокнутый.

Когда я жил в Зыборке, Чокнутый был владельцем «Врат». Управлял кабаком, где я провел всю свою молодость, и больше того – он был одним из героев моей молодости. Обещанием, что Зыборк может стать чем-то совершенно другим, чем он был на самом деле. Чокнутый изучал пластику в Академии искусства в Гданьске, но бросил учебу за год до диплома, чтобы вернуться в Зыборк и открыть кабак, который должен был стать передовым рубежом борьбы с гопотой, местом, где проходили рок-концерты, кабаком с индийскими узорами на стенах, под крышей которого звучали Nirvana, Blur и Radiohead, в котором прикрывали глаза – после двадцати двух – на косячки. По крайней мере, пока мэр не начал организовывать полицейские налеты на «Врата».

Чокнутый был романтиком. Он и правда хотел изменить город – расширить его, растолкать, проветрить, перекрасить в другой цвет. Играл на перкуссии в «17 секундах», един-

ственной группе, которая возникла здесь и сыграла концерт вне Зыборка – группе, которая записала песню о машине без включенных фар и в которой пел Ярецкий. Я задумываюсь, где сейчас Ярецкий. И проведывает ли он вообще Зыборк. И жив ли он вообще. Но Ярецкий – это совершенно другая история.

На голове у Чокнутого тогда было побольше волос, он был худее, стройнее, как-то благородней. Теперь он налит, раскабанел, опух. Глаза его отступили внутрь черепа, сделались хитрыми. Как и мой брат, Чокнутый растворился в Зыборке. Начал говорить по-зыборски, с наглым всезнайством; смотреть людям в глаза с легкой тупостью, ступором человека, который по собственному выбору уже долгие годы стоит на одном месте; месте, которое он прекрасно знает и которое прекрасно знает его самого.

К тому же, он стоял и болтал с Кафелем, которого некогда, вместе с его нацистскими друзьями, в одиночку выпер из «Врат» при помощи разбитой бутылки и ножа-бабочки, крича: «gegen nazis!»³⁴ и тем самым превращаясь в наших глазах в супергероя.

Что-то изменилось, а может, что-то на самом деле так никогда и не существовало.

– И как тебе оно? – спрашивает Чокнутый, поводя рукой по цветистому, задымленному помещению.

– Изменилось, – говорю я.

³⁴ Фашисты – прочь! (Нем.)

– Свины чаще моются, – фыркает Кафель.

– У меня как раз таких проблем нету, – говорит Чокнутый.

– Как видно, тебе нравятся другие бабы, Кафель, – вмешивается Гжесь.

– Может. Может, эти темы тут – не для меня. Я не ботан, – говорит Кафель.

– В общем, что-то изменилось. Не скажу, что именно. Все, – говорю я.

– Может, это ты изменился, – отзывается Чокнутый и подмигивает мне. – Сколько тебе сейчас, тридцать три?

Я киваю.

– Ну так с того момента, когда ты стоял под «Вратами», малолеткой, ты целую жизнь прожил, – говорит он.

– Сомневаюсь.

– Да точно. Уже – целую жизнь, – смеется он. – Надолго приехал?

– Надолго.

– Ох, брат, – скалится он. – Тогда – с возвращением. Тут чудесно.

– Чудесно, – повторяю я.

– Лучше всего на свете, – говорит он, дергает подбородком в сторону некой неопределенной точки в пространстве. – Это наш город.

«Если ты не можешь выносить то место, где находишься, то начинаешь этим местом гордиться, – думаю я. – Когда появляется чужак, убиваешь его. Просто затем, чтобы четче

провести границу. Если ты не можешь выйти, то другие не должны входить. Мажешь двери в дома кровью и дерьмом. Натираешь морду грязью. Носишь повседневную одежду как доспех. Любой инструмент взвешиваешь в ладони как нож. Поёшь громкие глупые песни о силе и единстве, добавляя себе внутренних сил. Пьешь водяру, выбиваешь стекла, выбиваешь зубы, трахаешь молодых и некрасивых девушек. Ты – варвар. Ты – победитель. Ты орешь. Бегаешь по кругу, тебе нужно патрулировать границу. Всякий может оказаться врагом, и это добавляет тебе сил. Никто тебя не успокоит, не смирит, не сделает так, что ты станешь смотреть на другого, как на человека. Такие – правы всегда, правы везде. Таковы уж люди, такова их косматая сучья мать, которая никогда не должна была выходить из пещеры».

Стоп, не думай! Не думай о глупостях. Слушай его, смотри на него. Потому что иначе – обидится.

Девушка ставит на стол четыре маленьких бутылочки колы. Она невероятно кого-то напоминает. Кого-то, кто уже немного стерся в памяти, поблек, сцарапался со слайда. Кого же? У меня сейчас нет сил искать, но это лицо красивое, по-настоящему красивое, миндальной формы, и большие глаза, и собранные резинкой черные волосы пульсируют у меня в голове, нажимают в мозгу некую кнопку, под той еще нет упорядоченного имени, образа, воспоминания. Кафель кивает на нее.

– Например, вот это – клевая девушка, нет, Чокнутый?

Она клевая, – он скалится. Кроме передних двух зубов, от него мало осталось. Он берет рюмку, опрокидывает. Его рука напоминает большую старую буханку хлеба.

Я опрокидываю свою рюмку. Выпиваю глоток колы. Отставляю бутылку на бар. Показываю девушке, чтобы налила еще раз. Все мы ставим свои бутылки ровной шеренгой, в каждой – немного разный уровень жидкости.

– Слушай, тут такое дело, – говорит Гжесь Чокнутому.

– Я слушаю тебя, Грэгор. Я тебя всегда слушаю, – улыбается он, берет в ладонь следующую рюмку, потом говорит мне.

– Твой брат – интересный человек. Действительно. Мы часто с ним разговариваем, разговоры эти – порой самое интересное, что случается днем.

Он похлопывает Гжесю по плечу.

– Не сомневаюсь, – отвечаю я.

– Тебе и самому стоило бы разговаривать с ним побольше. У него и правда забавный подход ко многим делам. Массу вещей он видит совершенно по-другому. – Чокнутый все похлопывает Гжесю по спине, словно бы тот чем-то подавился.

– Интересный, но с прибабахом, – со стоном говорит Кафель, ерзая на барном стуле.

– А ты, сука, не с прибабахом? Ты, викинг, сука, партизан! – Он хлопает Кафеля по плечу. Тот улыбается.

– Ну, чо, я просто хреначу пидоров, сука, ебу их в жопу, – говорит Кафель и отпивает еще глоток колы.

– Тут нет пидоров, Кафель, и я тоже не пидор, – говорит Гжесь.

– Ну, я тоже нет. А ты, Порчик? – Кафель толкает своего неподвижного, словно глыба, приятеля. – Ты – пидор?

– Отвали, – через некоторое время отвечает Порчик.

– Ты много пьешь, Гжесь. Это твоя единственная проблема, – отзывается Чокнутый.

– Пьешь за чужие и не проставляешься, – добавляет Кафель, и тогда я понимаю, о чем речь.

– Точно. Именно. Я же говорил, что по делу, – говорит Гжесь, и с его лица снова стекает улыбка, появляется кое-что другое, легкое волнение, призрак безумия, нечто, что я видал часто, когда был помоложе. Всегда, когда в глазах его проскакивало это выражение, он бросался на кого-нибудь – или на что-нибудь – с кулаками и не останавливался, пока этот кто-то (или что-то) не падал, разбитый, на землю.

– Ну так какое дело, Гжесь? Скажи. Скажи, как на исповеди. Не бойся. Тут только свои, – говорит Чокнутый и кладет моему брату руку на плечо.

Уголкем глаза я вижу, как Коля передвигается медленными, мертвенными шажками, почти левитирует над паркетом, наталкиваясь на дороге на одну из танцующих девушек; вижу, что он направляется в сторону бара.

Гжесь роется в кармане. Вытягивает горсть мятых сотен. Как на глазок, тысячи полторы. Спокойно раскладывает их, глядя Чокнутому в глаза, тасует словно карты.

Чокнутый улыбается. Сплевывает в сторону.

Внутри становится тесно и жарко; мебель, цвета, люди придвигаются к нам, словно их притягивает огромный, невидимый магнит. Я чувствую, как у меня перехватывает дыхание. Остальные подле бара внимательно поглядывают в нашу сторону.

– Пока что – все. Мне нужен еще месяц, – говорит мой брат.

– Месяц, – повторяет Чокнутый и улыбается Кафелю. Берет у Гжеся деньги, быстро их пересчитывает. Прячет в карман. Гжесь смотрит на него все тем же подергивающимся взглядом.

– Месяц, сука, это тридцать один день, – говорит Кафель.

– Вот слова мудреца, – добавляет Чокнутый.

– Будет, все будет, я возьму больше часов в пекарне, все путем, – говорит Гжесь.

– Больше часов, – повторяет Кафель, и тогда Чокнутый отпускает плечо моего брата, а Кафель встает и изо всех сил толкает Гжеся, который упал бы на пол, не поймай я его в последний момент за рубаху.

Второй дуболом, который сидел за Кафелем – теперь я его вижу: большой, лысый и молодой бычара, похожий на скульптуру из замороженного сала, – встает, но Кафель останавливает его взмахом руки:

– Стоять, сука.

– Эй, спокойней. Спокойней. Это мой брат, – говорю я и

ставлю Гжеся вертикально.

– А я думал, что твоя сестра, – Порчик отворачивается и сплевывает на пол, прямо мне под ноги.

– А остроумие у тебя отточилось, – информирую его.

– Хлебало завали, а то ёбну, – информирует он меня.

Кто-то стоит рядом со мной, и только через миг я вижу, что это Коля, который таращится на выставленные на бар бутылки.

– Я говорил, что могут быть проблемы, и не обещал, что отдам все до конца месяца, – говорит Чокнутому Гжесь.

Я отступаю на шаг. Все портится с головокружительной скоростью. Лица собравшихся кажутся бронзовыми, замершими масками. От них отдает потом, дешевыми духами, затхлостью, грибами. У меня кружится голова. Жидкий горький шарик водки подскакивает к горлу. Я опираюсь о бар, только чтобы лучше увидеть, как Кафель лупит моего брата кулаком в лицо, как мой брат опрокидывается на пол, как встает через миг, снова стоит перед ними, испуганный и сторбленный.

– Что ты говорил? Что ты говорил, Грэгор? Это ведь уже полгода тянется. Говоришь это полгода. Ты только все ухудшаешь, ты в курсе? – спрашивает его Чокнутый.

– Сука, мужик, я же должен алименты платить, – говорит Гжесь; я физически ощущаю, насколько ему стыдно, а мне стыдно от того, что стыдно ему, от стыда горит лицо, словно я сунул голову в морозильник.

– Когда ты стоишь у машины и кидаешь стельники, ты тоже это себе повторяешь? Что должен алименты платить? – Чокнутый пожимает плечами.

– Мне нужен еще месяц, Чокнутый, – говорит Гжесь.

– Месяц. За месяц тебя, сука, вепри в лесу сожрут, – Кафель отряхивается.

– Ладно, ладно. Я ведь тебя не убью, – говорит Чокнутый.

Хуже всего, печальней всего, что Гжесь, которого я знал, кинулся бы со всем, что оказалось бы под рукой, вслепую и не остановился бы, пока Кафель не лежал бы на полу, распластаный, со сломанной челюстью.

– У тебя есть месяц, – говорит тот и похлопывает Гжесю по щеке, а мой брат продолжает неподвижно на него смотреть.

Девушка за баром стоит в углу, взгляд ее снова втуплен в телефон. Она вообще не обращает на нас внимания. Для нее все нормально. Наверняка такое случается и имеет разные причины – ревность, долги, водка, скука, – но на самом деле это убийство времени, неловкое копание в машинерии, которая запускает эту жизнь хоть в какое-то движение.

И тогда Коля, который все еще стоит около нас со взглядом как два пустых грязных стакана, быстрым движением руки переставляет бутылки, каждую на другое место. Теперь они стоят в совершенно другом порядке. Движение длится долю мгновения и словно бы останавливает все вокруг.

– Если хочешь поиграть с бутылками, Коля, то можешь у меня прибраться, – говорит девушка, и все снова устремля-

ется вперед.

– Валим, – говорю я Гжесю, который стоит как окаменевший. – Пойдем.

– Прости за это. Порой разговоры заканчиваются так, – говорит Чокнутый.

– Я помню, когда ты был другим, – отвечаю я.

– Я и сейчас другой. Это он изменился, – Чокнутый пожимает плечами и улыбается, и его спрятавшиеся поглубже в череп глазки уменьшаются еще сильнее.

Гжесь идет первым. Я – следом. Иду быстро, не оглядываясь по сторонам; когда оглядываюсь на Чокнутого, вижу, что лицо его скорчено, словно в болезненной судороге. Мне кажется, что если он сейчас не расслабится, то у него сломаются все зубы.

Мы выходим на воздух. Тут свежо и холодно.

– Пойдем еще выпьем, – говорит Гжесь. – Позвоню паре приятелей. Пойдем выпьем.

– Сколько там? – спрашиваю я.

– Чего? – он строит из себя дурака.

– Того, что ты им торчишь. Продулся, да? Игровые автоматы?

– Неважно, – говорит он.

– Важно, – отвечаю я.

– Неважно, – повторяет он.

– Говори, а то я тебя сам отмудохаю, – говорю я так громко, что пара человек оглядывается на нас. Он фыркает сме-

хом. Отступает на шаг. Стирает остаток крови с губ и вытирает руку о штаны.

– Пятьдесят тысяч, – говорит и сплевывает на землю.

Пятьдесят тысяч. Будь у меня пятьдесят тысяч, я бы не стоял под зыборской хибарой в полночь, глядя, как он ходит, пьяный, отирает разбитое лицо и немо шевелит губами.

– Игровые автоматы? – спрашиваю я снова. Помню, что Гжесь любил биться об заклад, играть в карты, вбрасывать монеты в «одноруких бандитов», когда был еще малым пацаном. Он не отвечает, значит, я прав.

– Потому она с тобой и развелась? – спрашиваю я снова, а он снова не отвечает.

– Пойдем выпьем, – повторяет Гжесь через минуту. – Выпьем под водонапорной башней. Будет как когда-то. Сходим ночью в лес. Да, я бы прошелся. Сходил бы в лес.

– Она потому с тобой развелась? – повторяю я вопрос.

Он минуту смотрит куда-то вдаль, сквозь меня, клацает челюстью, кусает воздух.

– Не только поэтому, – говорит. – Но поэтому тоже.

Хватает в кулак что-то мелкое, что пролетает мимо.

– А ты что? У тебя хорошая, складная жизнь? – спрашивает он через какое-то время.

– Отец в курсе? – спрашиваю я.

– Сука, я уже взрослый, и ты – взрослый, – ворчит он и хватается меня за руку.

– И что теперь? Что думаешь делать?

Он поднимает руку и бессильно опускает ее вдоль тела. Поднимает ладонь, крутит ею, осматривая. Зыборк, его прямоугольники покрашенных в бледную пастель домов, немой главный перекресток рядом, по которому раз в минуту на скорости проносится машина с местными номерами со сучающим ребенком внутри, закрытый киоск «Руха», бледные огни в окнах жилого дома напротив, столб с объявлениями и вывеска магазина обуви, пастельные фасады, тротуары на средства Евросоюза, столбики, оградки и деревья, словно бы все это, весь этот испорченный мир должен был оказаться ответом.

– Как-то да будет? Это хочешь мне сказать? Что как-то да будет? – спрашиваю я.

– Миколай, ну а что тут сделаешь? Ты приезжаешь и спрашиваешь, что тут можно сделать. Посмотри. Присмотрись, сука, может, наконец, сумеешь, потому что раньше, вместо того чтобы смотреть, ты ходил и страдал, какая страшная с тобой, сука, случилась несправедливость. Она случилась не с тобой. Она случилась с ней. С ее семьей.

– Я смотрю, – говорю я.

– Ну и славно. Если смотришь, то увидишь, что и ты, и я – в жопе. И что мы взрослые. Взрослые, а значит – в одиночестве, – Гжесь пожимает плечами.

– О чем я еще должен знать? – спрашиваю я.

– Сука, – говорит он, фыркая, – должен. Должен. Ты, сука, должен нас благодарить.

«Ты мог столько сделать, – думаю я. – Мог сделать больше моего, потому что кроме того, чтобы думать, ты еще умел встать против всего мира и броситься с ним в драку».

Гжесь затягивается, резко, с некоторой растерянностью, словно вот только вспомнил, что он же – курит. Смотрит на меня и сплевывает. Я иду к машине. Он залазит внутрь.

У меня звонит телефон, это мой агент. Я сперва удивляюсь, пугаюсь, словно позвонил призрак – словно думал, что все, кого я оставил в Варшаве, умерли вместе со всем городом, вместе с прошлой жизнью. Я отхожу в сторону, смотрю на Гжесь, который сидит в машине и открывает банку пива. Перехожу на другую сторону улицы.

– Ты жив, Бледный? – этот вопрос – его визитка. Мой агент – милый Христов человек. Только я умею разъярить его настолько, что он начинает орать. Каждый раз, когда мы разговариваем, он мне напоминает, что я – его худший клиент. Он прав.

– Жив, – отвечаю я.

– Бледный, я каким-то чудом нашел издательство, которое хочет от тебя книгу, более того, хочет подписать с тобой договор, а потому, сука наша всехняя мать, хотя я процентов на девяносто уверен, что ты похеришь и это, прошу тебя, сосредоточься и подумай о тех десяти процентах, что ты – не похеришь, – выбрасывает из себя слова в пулеметном темпе, на одном дыхании.

– И? – спрашиваю я. Меня это даже радует, этот разговор.

Здесь, сейчас.

– И подпиши с ними договор, они хотят дать тебе пару тысяч злотых, не знаю почему, я хотел им сказать, что они ебанутые, правда хотел сказать им, что не знают, что делают, но не сказал, – говорит мой агент.

– Это забавно, – говорю я. Внутренности машины поглощают Гжеся. Теперь я совершенно его не вижу.

– А когда ты отдашь книгу – получишь вдвое больше. Естественно, они хотели отдать все только после того, как ты отдашь книгу. Но я умный, Бледный, слушай, какой я умный, мой ум – истинная мудрость вечно прокидываемых, я знаю, что тебе пришлось свалить из Варшавы, потому что ты не можешь заплатить кредит, – говорит он.

– Это правда, – отвечаю я. Если указать на его ошибку, это мешает мне так хорошо развлекаться.

– И? – спрашивает он.

– И? – отвечаю я.

– Я тебя ненавижу, – говорит он. – Сука, как же я тебя ненавижу, если бы я был там, где ты сейчас, то откусил бы тебе лицо и нассал бы в рану.

– Ты не знаешь, где я, – отвечаю я.

Вижу, как из «Андеграунда», покачиваясь, выходит Порчик и пинает мусорный бак.

– Завалишь? – повторяет агент.

– Боже, Павел, а это имеет значение?

– Завалишь или нет? – спрашивает он снова.

Юстина

– Ты за рулем, – говорит Агата.

– А почему не ты? – спрашиваю.

«Это интересная картинка. Две женщины, на самом деле мало что знающие друг о друге, стоят посреди ночи у большой темно-синей машины и ругаются насчет того, кто будет за рулем».

– Я приняла ксанакс, – говорю я.

– А я пила, – отвечает она.

Две женщины, одна пьяная, вторая вставленная.

– Сколько ты выпила?

– У тебя права не отберут, – заявляет она.

Она права. У меня не отберут права. Особенно если я выверну на дерево и убью нас обеих. Чувствую себя так, словно бы кто-то натолкал мне сквозь ухо в череп пропитанной свинцом ваты.

– Томек уже на месте, – говорит Агата. – Он там с ними сидит. А где Миколай?

Я качаю головой. Пожимаю плечами. Не знаю, где Миколай, и не знаю, где его брат.

Я и Агата хотим поехать в госпиталь. Агата чувствует, что должна туда поехать, но не хочет ехать одна. Естественно, я с ней поеду. Я уже была в полиции, потому приходится ехать дальше. Историй не оставляют, начав. Мимо проехал

«гольф» соседей. Я не помнила их фамилию, но уже различала эту машину. «Гольф»-тройка, ужасно шумный, с испорченными поворотниками.

– Потому что я должна ей помочь, – она смотрит на меня, словно я спросила ее о том, отчего люди едят и ложатся спать.

– Эта пани Бернат – твоя приятельница? – спрашиваю я.

– Нет, – качает она головой.

– Я могу закурить?

Она кивает. Я закуриваю, протягиваю ей пачку. Она качает головой:

– Она глупая корова и дурной человек.

– Тогда почему ты должна? – спрашиваю я.

– Потому что я помогаю женщинам, – отвечает она, подумав. – Зыборк – это ад для женщин.

Бернат позвонила Агате где-то полчаса назад. Сказала только:

– Его нашли. Он в больнице.

– Что? Как это случилось? – спросила Агата, но Бернат отбилась. Агата потом сказала, что та говорила так, словно в могиле лежала.

– Дай сигарету, – говорит Агата, а я протягиваю пачку в ее сторону. – Он нас прибьет за то, что курим в этой машине, – добавляет, кашляя – знак того, что курит редко и тайком.

– В том смысле, что будет шуметь? – спрашиваю я, догадываясь, что речь о ее муже.

– Пошумит, а потом убьет, – отвечает она и вдруг смеется впервые с того момента, как мы познакомились.

Когда Агата поднялась на наш этаж и постучалась в дверь, я еще пыталась работать. Пыталась – то есть хаотически стучала по клавиатуре, печатая случайные фразы, надеясь, что это поможет мне запустить весь процесс, что он сойдет со стопора, закрутится.

Через работу я пыталась здесь укорениться. Укоренение началось с того, что мы перенесли, наконец, в дом все ящики из машины. В том числе и мой, надписанный словом ВАЖНО, где были бумаги, жесткие диски, кассеты диктофона, запароленные пендрайвы.

Все это начало громоздиться в единственном шкафу для бумаг, который поставил нам в комнату Томаш. Шкаф был солидный и устойчивый, но не годился и на одну пятую моих потребностей. Миколаю не было до этого дела. Он не взял с собой ни одной книжки. Выезжая, сказал, что больше писания ненавидит только чтение.

Я целыми днями сидела перед работающим компьютером. Пила много мелиссы вперемешку с кофе. «Равновесие – важнее всего», – думала, отпивая глоток то одного, то другого. Одна розовая таблетка честно ждала в ящике своего часа. Я работала по четырнадцать часов ежедневно. Читала старые заметки, делала заметки новые, читала вырезки, слушала записи.

Наибольшей проблемой была порча материала. Думаю,

книжки, тексты должны писаться за раз. Нельзя оставлять их, чтобы отлежались. Текст не вызревает. Текст гниет. Смысл его испаряется, улетучивается. Через месяц покрывается толстой коркой плесени. Когда садишься за него снова, начинаешь с трудоемких спасательных операций.

В моем случае испортился не только текст. Испортились и его источники. Лежа на диване, слушая в наушниках часы бесед с жертвами, воспитанниками детских домов, полицейскими, родителями, я поняла, что из этих разговоров ничего не сделаю. Эти люди не хотят ни о чем говорить. Они уходят от темы. Боятся. Крутят. Рассказывают истории без конкретики, имен, мест, фундамента. Я нашла «Блокнот Последнего Шанса», то есть тетрадь с телефонами и e-мейлами, которые оставались неverifiedрованными, неточного происхождения. Пару дней звонила и писала, но никто не хотел со мной говорить, не то что встречаться, хотя я была готова в любой момент сесть в машину и поехать в любое место Польши. Наконец один мужик, который расследовал это дело от ЦБР, согласился поговорить со мной по телефону. Позвонил с карточки предоплаты. Сказал, что мне нет смысла ему перезванивать, потому что после разговора он ее уничтожит. Не представился. Согласился, чтобы я назвала его анонимным источником в следственных органах.

Сказал, кроме прочего, о мероприятиях в Милановке, в доме так называемого Сенатора, на которых приносили Сенатору (когда-то – настоящему сенатору, а теперь – директо-

ру финансового государственного фонда) одиннадцатилетних мальчиков в джакузи на золотых подносах. Сказал, кто туда приходил. «Выдумывает», – подумала я. Рассказывал о епископе, ректоре католической высшей школы, близком друге сенатора, его исповеднике. Епископ любит молодых девочек, три, четыре годика, говорил мужик. Голос его был гладким, низким, тяжелым, словно бы голова его было замотана в одеяло или будто бы он что-то держал во рту.

В следующий раз он сказал, чтобы я позвонила ему по Скайпу. Дал чужой, состоящий из цифр и случайных букв профиль. Во время соединения я видела только контур его головы, мне казалось, будто он что-то на нее надел, мешок или пакет. Он начал показывать камере распечатки снимков. Нет, он ни в коем случае не может прислать мне файлы, сказал. Я смотрела на снимки и чувствовала, как у меня деревенеют губы. Меня за это посадят в тюрьму, уничтожат меня, но я должна написать – вот что я чувствовала.

Другой возможности нет. Это чувство должного, оно напоминает боль в прогнившем до пульпы зубе, боль, которую невозможно игнорировать.

Тремя днями позже он позвонил в последний раз. Естественно, с другого номера, тоже предоплаченного. Сказал, что выходит из дела. Что мы никогда не разговаривали.

Я написала, что он шутит, и все, что он сказал, я намерена использовать в книге, что намереваюсь попытаться поговорить с каждым, кого он упомянул. Он позвонил через пять

секунд, хотя я никогда не давала ему номера своего телефона.

Сказал, что, конечно, я могу попытаться это сделать. А потом назвал дату рождения моей матери, регистрационный номер нашей машины. Спросил, когда мы в последний раз меняли покрышки. Хорошо ли мне живется в Зыборке. И что даже мой любовник может не успеть приехать сюда, если вдруг понадобится.

– Ты грозишь мне не от своего имени, – сказала я.

Он не ответил.

– Зачем ты вообще мне это сказал? – спросила я.

– Потому что у меня есть дети.

– Тогда почему, твою мать, ты только сейчас это делаешь?

– Потому что у меня есть дети.

– Понимаю, но...

– Да мне до жопы, что ты понимаешь, а что нет. Отвали.

Это не закончится, – сказал он и сбросил звонок, кем бы ни был.

Я позвонила Яцеку, главному редактору, и рассказала ему обо всем. Сказала, что вышлю ему все, что у меня накопилось. Предварительную версию статьи, заметки. Он ответил, что – да, конечно, но они все равно ничего не напечатают, пока у меня не будет источника, который все это сумеет подтвердить, в противном случае – могу идти с этим в «Факт»³⁵. Я спросила, мог ли он хотя бы глянуть на материалы. Он

³⁵ Польская газета, специализирующаяся на публикации всякого рода непод-

боялся. В конце концов я все же не отослала их ему.

Кроме меня материалы о Клубе Винни Пуха были только у Него. Я передала их Ему где-то с месяц назад; попросила, чтобы Он их проглядел. Он сказал лишь, что свяжется со мной, но сказал то же, что и редактор: что у меня должны быть подтверждения. Впрочем, что бы Он тогда ни сказал, нынче я не желала и не могла с Ним связываться.

Я открыла ящик. Вынула таблетку. Запила мелиссой, а потом кофе. Запустила компьютер, начала писать бессмысленные предложения, которые были чем-то вроде эпилога, плохими стихами и прощальным письмом.

Через какое-то время оставила это. Таблетка подсластила кровь и выровняла дыхание. Некоторое время я просто смотрела на несвязные фразы в редакторе текста, на забитую бумагами полку.

И тогда в комнату вошел Миколай. Был подшофе, но не с копыт. Я хотела отчитать, но даже не знала, который час. На короткий момент дверь оставалась открытой, и тогда в комнату влетели вопли его отца. Он затворил дверь и оперся об нее. Смотрел на меня. Спросил:

– Чего он так кричит?

– На Йоасю. Должна была вернуться в двадцать два, а теперь – одиннадцать.

Он пожал плечами. Открыл дверь и еще немного послушал.

– О'кей. Возвращаемся. Через неделю-две.

– Не понимаю. Почему – тогда? – спросила я.

– Потому что придет наличка, – ответил он.

– Какая наличка? – спросила я.

– Наличка за книжку. Аванс.

– Не делай этого. Не бери денег от издательства. Не нужно больше, прошу. От такого больше вреда, чем пользы.

Он подошел и ухватил меня за талию, пытаюсь поднять. Сделал мне больно. Я легонько ударила его по голове. Он послушался, отошел.

– Ты хочешь вернуться. Ты страдаешь. Мечешься. Я это вижу, – сказал он, нащупал рукой край стула, придвинул его, сел.

– Да, хочу, Миколай, но стоит быть реалистами, у меня нет никакой работы, нигде ее найти, все забито, мне придется возвратиться и работать в Rossmann ³⁶, – сказала я.

– Это я пойду работать в Rossmann. Охранником. Буду всех лупить. До крови. И у нас будет дармовая туалетная бумага, – пробормотал он и лег рядом, словно стул приказал ему с себя сойти. – На этот раз я не завалю дело.

– Миколай, тут проблема не в том, завалишь ты дело или нет, – соврала я.

Он что-то проворчал, я не поняла, что именно.

– Только не пей завтра с Гжесем, прошу.

Но он уже не слышал, потому что мгновенно заснул, слов-

³⁶ Сеть магазинов, торгующая косметикой и средствами по уходу за телом.

но кто-то отключил ему все чувства.

– Отчего ты говоришь, что Зыборк – ад для женщин? – спрашиваю я у Агаты.

Мы стоим перед больницей. Пока не входим внутрь. Курим и смотрим на здание, на бетонный параллелепипед, пристроенный к дому на несколько десятков лет его старше, к довоенному, четырехэтажному, из красного кирпича. Каждое окно там светится чуть другим оттенком, от теплого, мочевато-желтого, до бледного, стерильно-белого. Словно каждый вид болезни и смерти имеет свой световой код, свое обозначение. Когда я отворачиваюсь, по другую сторону улицы, на вершине холма, вижу темный контур замка. Его башни выглядят как большие выбитые зубы мертвого чудовища.

– Для женщин – всюду ад, – она улыбается, выпускает дым.

– Святая правда, – отвечаю я.

Когда Агата улыбается, ее лицо раскрывается и делается теплым, превращается в маленькое, пепельное солнце. В ней находит свое место множество дел, которых я пока что даже не могу себе вообразить. Мне всегда казалось, что она просто уставшая, жесткая, не слишком симпатичная женщина, которая выглядит как сестра шведского крестьянина и особо не желает со мной разговаривать, потому что я – из Варшавы.

Люди из Варшавы убеждены, что людей из Варшавы везде ненавидят. Живут с синдромом осажденной крепости.

– Но Зыборк специфичен, – говорит через миг Агата, гля-

дя в разноцветные окна.

– Почему специфичен?

– Не знаю, может, на самом деле он и не специфичен, может, я просто тут родилась и безвыездно живу, а на самом деле – всюду одно и то же.

– Каждый город – специфичен, – говорю я.

– Если каждый специфичен, то везде – одинаково, – отвечает она, и теперь смеюсь я.

– Есть пара мужиков, которые всегда управляли Зыборком. Их отцы управляли Зыборком. Их сыновья станут управлять Зыборком. И они всегда делали тут, что хотели. В один год кто-то из них – мэр, другой – советник, третий – директор. А потом меняются. Бернат был одним из них, и он единственный не боялся Кальта.

– Кальта? – спрашиваю я.

– Это такой бандюк. Сукин сын, похуже каждого из них, – пожимает плечами Агата. – Но неважно. Они все всегда договаривались. А если не договаривались, то город знал. Их дела всегда были важнее прочих.

– А их жены должны были стоять рядом и не отсвечивать?

– Их жены – всеобщее посмешище. Весь город знает, кто из молодых потаскушек наставляет им рога. Весь город смотрит на их деньги и придумывает легенды об этом бабле. Комментируют, как они одеваются в церковь. Смеются, когда они толстеют или стареют. Ты бы хотела стать посмешищем, Юстина? – спрашивает она.

– Жена Берната – одна из них? – отвечаю я вопросом на вопрос.

– И не худшая.

– Но это ведь жены всех, кто в первых рядах, если я верно понимаю, – смотрю на нее, а она отводит взгляд, только шлет загадочную улыбку в сторону черных зубов замка.

– Каждая женщина в Зыборке ходит под мужиком, словно под крестом.

– Ты тоже? – не могу удержаться, мои зубы не успевают прикусить язык, клацают друг о друга.

– А ты? – отвечает она.

Видит мое лицо и начинает смеяться.

– Я должна бы спросить, нравится ли тебе у нас, а не болтать всякую ерунду, – Агата сует мне под нос маленькую бутылочку, вынув ту из кармана. Я качаю головой. Бутылочка с виду где-то миллилитров двести, в ней что-то маслянистое и оранжевое.

– Не знаю пока, нравится или нет, – говорю я, а она щурится, глядя мне в глаза, словно желая прочесть во мне некую болезнь.

– Знаешь, мы пока что плохо друг друга знаем, не было случая сойтись. Но я знаю, что на людей Томек производит такое впечатление, какое уж производит. Полагаю, и на тебя тоже. Это нормально.

– Я его боюсь, – говорю я искренне и чувствую, как что-то сваливается у меня с сердца, облегчает его, сползает телом,

чтобы выпасть боком, низом, сквозь лодыжку, сквозь стопу.

– Он справедливый человек, – говорит Агата, отпивает глоток из бутылки и прячет ее в карман. – Такое здесь – редкость. Правда.

Слово «справедливый» приводит к тому, что я начинаю бояться еще сильнее. Но об этом уже не говорю вслух; вместо того чтобы говорить, смотрю на запаркованные под больницей машины. Больше половины из них – полицейские. Их семь.

– Миколай тоже справедливый, – говорю наконец.

– Он бедный, – отвечает Агата.

– Да, бедный, – киваю.

– Они меня ненавидят, – говорит она, глядя на меня. Не знаю, что ей ответить.

– Может, пойдем уже, – говорю я, а она кивает и идет в сторону входных дверей, быстро и напрямик.

Я вообще не понимаю, отчего мы не вошли сразу, может потому, что одна из нас немного вставленная, а вторая немного пьяная, а Агата словно читает мои мысли, перед дверьми останавливается и говорит:

– Перед тем как войти в больницу, всегда следует успокоиться.

«Это она бедная, это она – слабее всех», – думала я, когда шла за ней по белым, пустым, обшитым пластиком коридорам, вдыхая запахи лизола, мочи, спирта и ржавчины. На моих глазах за пару десятков секунд она превратилась в

совершенно другого человека.

Мимо нас проходит молодая санитарка, Агата ее останавливает, хватая за руку, санитарка подпрыгивает от страха.

– Говорят, вы нашли Берната, – говорит ей Агата.

– Вы родня? – спрашивает та.

– Девочка, тут же все – семья.

Я вдруг думаю, что каждый журналист просто мечтает о том, чтоб однажды ему позвонил некто опасный и анонимный, и чтобы знал о нем все, и сказал, что журналист должен перестать, иначе случится нечто плохое, обвалится весь мир журналиста. И этот звонок, кроме прочего, докажет, что он был прав, что он обладает интуицией, что на перекрестке свернул на нужную дорогу, на ту, где дракон и сокровище.

– В таком случае – не могу, – говорит санитарка. Испуганная, она отступает на шаг.

– Девочка, – поясняет Агата, – она ведь моя подруга.

Потом пожимает плечами, окидывает санитарку взглядом, идет дальше, Я послушно шагаю следом, санитарка что-то кричит, кажется, даже бежит за нами, но мы удивительно быстры для одной вставленной, а второй пьяной, мы идем по лестнице, тут все еще никого нет, словно больница вдруг опустела из-за некоей тревоги.

Каждый журналист фантазирует об этом, а когда с ним такое случается, он никогда не знает, что должен сделать. Только журналисты в фильмах сразу знают, сразу бросаются работать – иначе у фильма не будет сюжета. Мой коллега как-

то ответил на такой звонок, когда работал по делу Олевника³⁷. Его жена как раз родила близнецов. Беременность проходила тяжело, но дети родились здоровыми. Позже он рассказывал мне, что в тот момент он и понял, что все это – не настолько уж важно, что это чужие люди, что – не его дело. Что он неверно понимает чувство долга. В тот же день, когда ему позвонили, он усадил себя и семью на самолет и полетел в Великобританию, чтобы работать в магазине с польскими продуктами. Теперь, насколько знаю, у него уже свой магазин. Он много улыбается, потолстел килограмм на двадцать.

Я не знаю, что должна сделать. У меня нет близнецов. У меня и одного-то ребенка нету. Но у меня есть муж, у мужа есть отец и брат, у отца и брата есть дети. Думаю о них так впервые.

Мы входим в коридор интенсивной терапии и тогда натыкаемся на большого толстого мужика в полицейской форме, который вырастает перед нами как большая резиновая стена.

– Прохода нет, – говорит Резиновая Стена.

– Я – семья, – говорит Агата.

В глубине коридора, более затхлого и грязного чем остальные, за спиной толстяка я вижу еще больше полицейских. Вижу еще и жену Берната, которая сидит под стеной, а лицо ее словно сделано из раскрошившегося гипса. И я вижу

³⁷ Громкое дело в Польше, связанное с похищением осенью 2001 года Кшиштофа Олевника, сына «мясного магната»; тело жертвы было найдено в 2006 году. Подозревалось, что организованная преступная группа, убившая похищенного, имела контакты с полицией.

отца Миколая, который держит руку на ее плече, и по этому, совершенно чуждому для него жесту, я делаю вывод, что с Бернатом – худо.

– Прохода нет, – повторяет Резиновая Стена.

Жена Берната нас не замечает, она тупо смотрит в одну точку. Но нас видит отец Миколая; встает и медленно подходит.

– Простите, я с ними, – слышу за собой голос моего мужа, оборачиваюсь и вижу его, задыхающегося, расхристанного и полураздетого, но удивительно трезвого.

– Ну и ладно, и будьте с ними, мне-то какое дело, вместе и постоите, – говорит Резиновая Стена.

– Что ты тут делаешь? – спрашиваю я Миколая.

– Отец позвонил на телефон Гжеся, хотел, чтобы я сюда приехал, – говорит он, переводя дыхание. Всего-то один этаж, но Миколай никогда не был силен.

– Они со мной, Радек, – говорит мой тесть в спину Резиновой Стене.

– А почему Гжесь не приехал? – спрашиваю я.

– А где Гжесь? – спрашивает Агата.

– Не знаю, погоди, сейчас, секунду, – отвечает Миколай.

– Господин Гловацкий, я понимаю, но... – Резиновая Стена чешет голову и встает боком, кажется, словно его огромная голова совершает невероятно сложные расчеты.

– Пойдемте, пойдемте, – отец Миколая машет нам рукой, чтобы мы шли мимо полицейского и двигались дальше по коридору.

Полицейских семеро. Сидят в левой части коридора. Некоторые даже вооружены. Большая часть их, кажется, совершенно не понимает, что делать. Резиновая Стена садится рядом, тяжело вздыхая.

– Где Гжесь? – спрашивает Миколая отец, не глядя на него, идя в сторону жены Берната.

– Не знаю, мы были в кабаке над рекой и разошлись там, он сказал, что должен куда-то пойти, но оставил телефон... – отвечает Миколай, пытаясь угнаться за своим отцом. Тот только машет рукой, словно бы все уже знает.

– Что случилось? – спрашивает Агата жену Берната, но та не отвечает, просто поднимает взгляд и смотрит, молча, пытаясь вспомнить, кто это перед ней.

– Заберите ее домой, Томек, – еще один женский голос, холодный и уставший. Это ухоженная женщина лет пятидесяти, небольшая и ладно скроенная, в белом халате, с чем-то птичьим в лице. От женщины бьет усталостью. Если бы не слишком трезвый взгляд, могло бы показаться, что она левитирует.

– А тебя кто заберет домой? – спрашивает отец Миколая.

– Мы ждем вертолет, его должны забрать в Олыштын, тут нет оборудования, тут он сразу умрет, начался сепсис, – отвечает женщина.

– Вертолет, – повторяет жена Берната таким голосом, словно учится говорить.

– Заберите ее домой, – повторяет женщина.

– Это мой сын и его жена, – отец Миколая машет на нас.

– Добочинская, – говорит женщина и протягивает ко мне руку.

– Гловацкая, – говорю я и жму руку, и тогда понимаю, что такая же фамилия еще у четырех других людей здесь. Что делает меня их имманентной частью. Впервые думаю о том, что я во что-то вбита, выросла надолго.

– Вы врач? – спрашиваю после паузы.

– Директор. Томек, знаешь, заедь, глянь, что у меня дома, все ли в порядке, и отпиши, – говорит она Томашу, а он кивает. Без выражения.

На некоторое время устанавливается тишина, пустая, но тяжелая, словно лизол и спирт заткнули всем рот и уши, мы стоим без движения, только жена Берната начинает издавать звук, тихо повизгивать, словно маленькая голодная меховая зверушка.

– Он жив? – прерывает тишину Агата.

Директор больницы смотрит на жену Берната, потом на нас и кивает:

– Я должна идти.

– Иди, – позволяет ей Томаш.

Дает мне знак рукой, чтобы я села рядом. Я сажусь.

Семья Гловацких. Кулак, сжатый так долго, что все пальцы выросли во внутреннюю часть ладони. Неважно, что мы попали сюда из-за совершенно чужого мне мужика и чужой женщины, которую я видела всего несколько минут. Неваж-

но, что меня сюда привело, как всегда, мое любопытство, которое я охотно на что-нибудь обменяла бы: например, на умение спать восемь здоровых часов в сутки.

Семья – это как застрять в лифте с совершенно чужими людьми на всю жизнь.

– Его нашли в лесу, если ехать на Купалки, это двенадцать километров отсюда, – говорит Томаш. – Двое пареньков его нашли, таких молодых наркош, чем-то вставленных.

– В нем сейчас килограмм сорок, – говорит вдруг жена Берната. Ее голос – тихий стеклянный скрежет.

Жена Берната продолжает говорить. С трудом. Голос ее заставляет время замедлиться. Слова текут из нее, словно капли с тающей сосульки. С огромным усилием она объясняет, что у ее мужа, которого привез сюда, в больницу, поднятый парнями лесник, анемия, сепсис и обширный инсульт. По всему телу у него следы глубоких воспаленных ран, похоже, что от глубоких царапин, у него выкрошены и сломаны зубы – все, словно он пытался грызть камни. Что эти выкрошенные зубы – в крови и с остатками мяса. Что он тут давно. Что вертолет из Ольштына потому, что его состояние ухудшилось.

– Он стонет, – говорит она наконец. – Стонет, тихо, постоянно, не может перестать.

– Господи боже, – говорит Агата.

– Его кто-то похитил, – вмешивается Миколай. – Его кто-то похитил и удерживал.

– В этом должна разобраться полиция, – говорит Томаш, кивая на семерых парней по другую сторону коридора, которые пока что больше заняты грязью под ногтями. Вдруг Резиновая Стена встает и разворачивается в сторону коридорного проема.

– Он откуда-то сбежал, – говорит Миколай. – Еще одна, – добавляет он, видя худощавую женщину около тридцати, с собранными резинкой, некогда крашенными в белый цвет волосами, в сером свитере, которая быстро идет посередине коридора.

– Похоже на то, – отвечает через мгновение его отец.

– Господи боже, – повторяет Агата и встает, и движется в сторону женщины, прежде чем ту заметит жена Берната и прежде чем я успеваю понять, кто это.

– Нельзя, – говорит женщине Резиновая Стена, и тогда она тычется в его тело, изо всех сил бьется в его грудную клетку.

– Что ты здесь делаешь, ты, прошмандовка, – эту фразу, как и все предыдущие, жена Берната произносит холодно, вежливо и тихо. Сказав «проשמандовка» – встает.

Агата оборачивается и в последний миг пытается поймать жену Берната за локоть, но та вырывается и подбегает к женщине: та, хоть и состоит из несчастного, засаленного колтуна волос, свитера и боли, все еще кажется симпатичной и молодой.

– Зачем ты сюда пришла?! – орет жена Берната из-за спины Резиновой Стены. – Зачем ты сюда пришла, потаскуха

ебаная?

– Успокойтесь! – кричит Резиновая Стена, нервно тиская что-то в пальцах – должно быть, упаковку жевательной резинки.

– Что с ним? Просто скажите, что с ним? – выкрикивает молодая сквозь слезы.

– Вали отсюда. Это все из-за тебя. Из-за тебя все это, сука, – Бернат проскальзывает под рукой женщины и принимается ее дергать и царапать, та вообще не реагирует, только выкрикивает снова и снова свой вопрос: что с ним?

Жена Берната всей силой своего налитого тела толкает женщину на пол, а Резиновая Стена не понимает, что ему делать, и в конце концов отодвигается на шаг, тем самым подпуская жену Берната к любовнице ее мужа. Та садится на поваленную и принимается охаживать ее голову и руки ударами раскрытых ладоней. Когда две женщины начинают драться, на всех наваливается бессилие. Женщина для другой женщины – не барьер, который следует преодолеть, чтобы идти дальше. Женщина не бьет другую женщину, чтобы ее нокаутировать или затем, чтобы как можно сильнее ее унижить, причинить ей как можно большую боль. Для женщины драка – это смысл и цель сама по себе.

– Я хренею, какая комедия, – один из полицейских качает головой.

– Что тут происходит? Успокойтесь все, а не то, на хрен, отправитесь сейчас в «обезьянник»! – директриса больницы

стоит в дверях, опираясь на косяк.

Жена Берната наконец останавливается. Слезает с лежащей женщины. Отступает под стену. Тяжело дышит. Выглядит большим дырявым старым мячом. Женщина тоже встает с пола.

За директрисой в дверях стоит человек во врачебном халате. Что-то говорит ей на ухо. Она кивает. Потом врач отступает за дверь.

– Идите отсюда, – говорит директриса лежащей женщине. Я помогаю той встать. Она делает это с трудом. Даже не смотрит в сторону жены Берната, глядя в пол.

– Не прикасайся к ней, – говорит Бернат. – Не прикасайся к этой сучаре.

– Я только хотела... я только хотела... – сопит любовница Берната. Черные длинные капли туши стекают на красные следы от ногтей жены Берната. Она вдруг теряет равновесие и едва меня не опрокидывает. Когда лицо ее придвигается к моему, я вижу в красных углублениях под порванной кожей кусочки лака.

– Прошу вас, идите отсюда все, – говорит директриса.

– Идем, – отвечает отец Миколая.

– Позволь тебя на секундочку, – говорит директриса, а отец Миколая кивает.

Он отходит на минуту, а мы стоим в коридоре, создавая странную несимметричную геометрическую фигуру. Резиновая Стена, наконец, садится, тяжело вдыхая, на стул. Ми-

колай занимает его место. Совершенно не знает, что делать. Агата берет жену Берната под руку.

– Пойдем в туалет, Эва. Пойдем, – говорит голосом и тоном санитарки. Жена Берната кивает.

– Он в очень тяжелом состоянии, – говорю я бедняжке в свитере, которая пытается не смотреть на исчезающий внизу лестницы контур жены Берната.

– Он будет жить? – спрашивает.

Я слышу, как Миколай тяжело вздыхает. Он сыт по горло. Миколай, сука, в критических ситуациях всегда сыт по горло, и его слабо интересует тот факт, что и другие сыты им по горло точно так же, как и он – и даже сильнее.

Я вижу, как отец Миколая кивает, стоя к нам спиной: напоминает монолит из «Космической Одиссеи 2001», на который кто-то шулки ради натянул кожаную куртку и военные штаны.

Я вижу, как на птичьем личике директрисы появляется страх и отвращение, как они все отчетливее проступают сквозь раздражение и усталость.

– Не знаю. Но нужно быть готовой ко всему, – говорю я любовнице Берната. Беру ее под локоть. Она прячет лицо в ладонях.

– Я уже пойду. Уже пойду, – после чего делает три шага в сторону стены и сползает по ней на пол.

Директриса исчезает в дверях, отец Миколая поворачивается, подходит ко мне, берет за руку, и это так странно и вне-

запно, что я никак не реагирую. Его рука теплая и твердая. Напоминает камень из печки.

– Пойдем, – говорит отец Миколая. – Оставь ее.

Я киваю. Он отпускает мою руку. Показывает кивком на лестницу.

– Вот ты впуталась в проблемы, – говорит он, когда мы спускаемся по лестнице.

– Агата хотела, чтобы я ее сюда привезла.

– Потому что она пила, – говорит он.

– Не знаю, – вру я.

– Не защищай ее, – отвечает он.

– Ну, она имеет право.

Он останавливается. Смотрит мне в глаза.

– Может, станешь бросаться такими фразами, когда будешь информированной получше?

Его тон – как пощечина.

Я сгибаюсь. Он это видит. Вздыхает. Качает головой, сжимает и разжимает кулаки, потом смотрит на ногти под свет. Ногти у него – словно толстая чешуя. Бесформенные, неровные, желтые, но отдраенные дочиста так, что с кончиков пальцев облазит кожа.

– Что-то еще. Что-то еще случилось, – говорю я.

– А не знаю, сука, не знаю, они могут просто так говорить, – отвечает он через миг, отмахивается, поворачивается спиной.

– Что говорить? – спрашиваю я.

– Или, не знаю, ошиблись, ну, блин, это же просто невозможно, – повторяет он, все еще стоя ко мне спиной.

– В чем ошиблись, Томаш? – спрашиваю я громко.

Он поворачивается. Щурится. Осматривается, не слышит ли нас кто.

– У него во рту нашли много крови и мяса.

– Наверняка он ел какую-то падаль. Был голоден, – говорю я.

Отец Миколая вытирает глаз. Тихо посвистывает. Теперь я его вижу. Теперь – понимаю. Он саркофаг. Его покрывает асбест. Когда внутри давление доходит до критического уровня, снаружи образуется маленькая щель, трещина, сквозь которую вылетает тихий свист.

– На исследование взяли уже здесь. Говорят, что – человеческое. Но понятия не имеют: чье, и как, и что. Тест ДНК только будут делать, – говорит, и только теперь до меня начинает доходить, о чем он.

– Верно ли я понимаю? – спрашиваю.

– Ты все верно понимаешь, – кивает отец Миколая. – Он пытался кого-то съесть.

Я теряю равновесие и вижу, что он это замечает, секундой позже я уже не вижу, но чувствую, как он хватает меня за руку. Держит меня сильно, до боли.

– Осторожнее. Спокойнее.

– Спокойней? – слышу свой вопрос.

– Тут и не такие вещи случались, – говорит он, выдыхая. –

Поверь мне – и не такие.

Мальшняя 2

На мессу в шесть утра пришло с десяток человек. Все прошло быстро, только парафиальные объявления тянулись чуть дольше. И ему пришлось, как обычно, просить о содействии для референдума, который организует Гловацкий. Для Зыборка сейчас важнее всего убрать эту ведьму, подумал он. Естественно, не проповедовал таким-то образом, алтарь не для того, чтобы тыкать с него ножом. Сказал что-то об иудиних сребрениках. Что город, землю, малую родину нельзя продавать за деньги. Что нельзя выбрасывать людей из их домов только потому, что это кому-то нравится.

Но даже это он говорил поспешно, хотел побыстрее уйти. Обрадовался, что исповедей немного, всего два-три человека. Маляр наверняка уже его ждет. Сейчас он включит телефон, позвонит и извинится, и скажет, чтобы тот подождал еще несколько минут или чтобы зашел внутрь, где Ядвига соберет на стол или хотя бы чай.

Маляр был хорошим человеком. Сделает за небольшие деньги. Ведь нельзя, чтобы вандалы и хулиганье выигрывали. Выигрывает добро и истина. С собакой – хуже. Собаку не вернуть. Возьму другую, поумнее. Добро и истина.

Он догадывался, в чем тут дело. Догадывался, но боялся только ночью. Днем Бог все видел, днем он в безопасности – по крайней мере, так он думал. Ночью Бог словно отвора-

чивается в другую сторону. А может, это не Бог отворачивается, а просто ночью молитвы слабее, потому что говорят их тихо, лишь бы никого не разбудить, подумал он.

Шарик, возможно, станет путаться под ногами, когда придется предстать пред Альфой и Омегой и расплатиться за все. Пусть так. Шарик это заслужил. Был

хорошим. Он помнил, как нашел Шарика привязанным проволокой к дереву, оголодавшим, на всех лающим. Этот лай остался с ним. Как можно было сделать такое с животным?

Он сидел в исповедальне, но хотел как можно быстрее выйти, уже радовался, что скоро облегчит спину, та страшно болела из-за сидения на деревянной лавке. Радовался недолго, потому что вдруг услышал несмелое шуршание и постукивание. Знал эти звуки прекрасно. Медленные, разделенные долгими паузами. Это постукивание и шуршание людей, которые отвыкли, которые боятся, которые не могут вспомнить, когда в последний раз исповедовались в грехах.

Эти люди его нервировали. Не потому что не ходили на исповедь и не потому что наконец пришли на нее – но из-за того, что устраивали все это представление. Человек виновный должен быть силен в своей вине. Решителен в своем раскаянье за грехи. Люди зря путают раскаянье с робостью, подумал он.

Из-за решетки до него донеслись запахи – масло, парфюмерия, сигареты, земля. Он не знал, кто по ту сторону. У

этого кого-то на голове был капюшон: заметил, когда человек чуть повернул голову. Под капюшоном он увидел глаза, маленькие и раскосые. Еще недавно эти глаза, сверкающие удовольствием, плавали среди налитых жиром щек. В горле у него возникло что-то холодное. Быстро сглотнул.

– Говори, сыне, – сказал.

Но сей сын ничего ему не ответил, а холода в глотке становилось все больше. Он мог открыть исповедальню и выйти. Но тогда бы этот человек в капюшоне мог быстро до него добраться и потом сбежать через боковой вход.

Никто бы и не заметил. Церковь была пустой. А его бы нашли утром.

– Говори, сыне, – повторил.

Мог лишь громко молиться.

– Прошу вас, меня ищут, – сказал тот.

Только теперь он его узнал, почувствовал, как колотится сердце.

– Мацюсь. Что ты тут делаешь? Где ты был?

Тот не ответил. Кроме земли, одеколona, сигарет чувствовался еще пот, резкий запах страха. Мацюсь не был плохим человеком. Был потеряннм, блудливым и пустым, быстро пускал в ход кулаки, даже против женщин. Но у Бога всегда вдоволь милосердия.

– Меня найдут, – сказал мужчина через миг. – Найдут меня.

– Кто тебя найдет? – спросил он.

– Они всех найдут, – сказал Мацюсь.

Эта туча собирается надо всем Зыборком, подумал он вдруг. Туча страха. Он согрешил, молился только о себе. Нужно молиться обо всем городе. Обо всей этой земле.

– Кто тебя найдет? Ты задолжал кому-то? У тебя ведь есть деньги. Успокойся, сыне.

– Ты знаешь, что мы сделали. Что мы натворили. Ксендз знает, – ответил Мацюсь.

– Знаю, – ответил он согласно с истиной.

– Вот именно. Хватит и того, что вы знаете, – сказал Мацюсь.

Но ксендз не отвечает за чужие дела, подумал он. Передает их Господу. Направляет их наверх.

– Ты хочешь исповедаться?

– Что мне это даст? – фыркнул Мацюсь. Часто так фыркал. В фыркание этом укрывалось его отчаянье.

– Спокойствие души, – ответил он.

– А у вас, ксендз, спокойно на душе? – спросил тот.

Он не ответил.

– Хорошо, что у вас на душе спокойно, потому что они придут за вами, – сказал он и принялся кашлять.

– Кто? – спросил он, и это был искренний вопрос. Потому что он догадался, о чем речь, но не понимал – кто именно. Теперь холод охватил все тело, особенно суставы. Болела спина, словно кто-то избил его палкой. – Кто? – повторил он вопрос, но за решеткой уже не было капюшона и запахов,

были только тихие шаги, удалялись, а потом – скрипнула открытая дверь.

А может, Ты просто желаешь, Боже, чтобы так и было, подумал он. Может, таковы Твои планы. Может, нет смысла просить Тебя в молитве, чтобы Ты сдержал свою волю.

Может, нужно Тебе доверять, даже если доверие – болезненно.

– Кто? – повторил он еще раз, тихо, сам себе.

Вынул телефон из кармана. Включил его впервые со вчерашнего вечера. Нужно позвонить маляру. Но через миг он уже и не думал о маляре.

Таковы Твои планы, Господи, думал он, всматриваясь в падающий на экран дождь известий и сигналов о непринятых звонках. Все были от жены брата.

«Есть ли смысл читать предыдущие, – думал он, – если последнее говорит, что его брат только что умер по дороге в больницу Ольштына?»»

Часть вторая

Октябрь / От глада

Что видел Гизмо?

Все знают, что случилось с Гизмо³⁸. Все знают, что Гизмо сделал. Это одна из тех вещей, которые каждый из Зыборка носит с собой, как кошелек. Постоянно хранит в памяти, как дату собственного рождения. Гизмо. Каждый из Зыборка помнит эту кличку. Может, кто постарше использует вместо клички имя.

Эту историю знают не только в Зыборке. Знают ее всюду там, куда выехали люди из Зыборка – на учебу, на работу. В больших городах понаехавшие чувствуют неудобство. Втираются в милость местных. Объясняют, кто они на самом деле. Часть сквозь призму анекдотов, сказок из тысячи и одной соломинки. Вроде и из настоящей жизни, но со смешной шапочкой на голове и музычкой из Бенни Хилла на фоне. То, что сделал Гизмо, наверняка не раз переделали в такую вот байку. Я ни на кого за такое не сержусь. Все, что тебя не касается эмоционально – остается просто анекдотом.

³⁸ Прозвище героя происходит от имени моговая-гремлина, героя комедийного фильма ужасов «Гремлины» (1984).

А вот в моем городе, слушайте, был один чувак и... Что, правда? Да чё ты гонишь? И в газетах не писали? А его ро-
даки? Его семья? Все еще там живут?

Нет, родители Гизмо уже не живут в Зыборке. Но – да, ко-
гда-то жили. Его мать работала в магазине. У нее были про-
блемы с работой, потому что у нее были проблемы со всем. Мать Гизмо, Божена Масловская, часто занималась на кас-
се шахер-махером, прикарманивала мелкие суммы, которые,
в свою очередь, соединялись в суммы крупные. Мать Гиз-
мо исповедовалась за все это в костеле. Полагала, что Бог ее
простит. Гизмо хотел есть, две его сестры – тоже, и не один
только хлеб с консервами. Когда хозяйева магазина, Ястрем-
бовские, узнали о шахер-махере, хотели выпереть Маслов-
скую, но та принялась плакать и вопить, что убьет себя, а не
то ее убьет отец Гизмо.

Вальдек Масловский чаще всего сидел на лавочке со свои-
ми приятелями Кабаном, Пащакон и Неменом. Этот послед-
ний получил свою кличку из-за схожести с известным пев-
цом, плюс из-за того, что был немым. Вальдек, кроме того
что сидел на лавочке с Неменом и Пащакон, объясняя им
мир с помощью все более невнятных коанов, бывал и дома, и
когда не спал на диване перед телевизором, то лупил, сколь-
ко влезет, Масловскую и ее дочек. Для битья использовал
главным образом кулаки, иногда кабель, древко от швабры,
доску. Гизмо он не бил – возможно, потому что боялся: Гиз-
мо был худым, как тростинка, но, как говорится, выстрелил

вверх, было в нем почти два метра роста, лапы – длинные, как у обезьяны. Отец боялся, но и Гизмо боялся тоже. Когда отец заливал zenki и начинал орать, Гизмо сидел в комнате и сжимал голову ладонями, слушая на полной громкости Kaliber 44, свою любимую группу. «Отчего я вижу, что тебя нет. Будь, пади на колени!» – вопил Ś. Р. Брат Йока³⁹, пока старый Масловский обзывал мать Гизмо последними словами, потому что та не хотела дать ему двадцать злотых, заработанных шахер-махером в магазине Ястрембовских.

Двадцать злотых – это четыре спиртовых настойки, но и продукты для двух обедов для Гизмо и его сестер. Гизмо уже, правда, достаточно вырос, но не мог оставаться таким худым. «Высокий и худой – переломится», – думала мать.

«Пусть убьет меня, но не дам сукиному сыну ни гроша», – думала мать Гизмо.

Судьба сестер Гизмо куда менее известна. Младшая мужественно забеременела в шестнадцать, неизвестно от кого, а потом с ребенком и матерью перебралась к бабке в Хожели. Жили там с пенсии бабки, а мать Гизмо подрабатывала, прибираясь у людей. Старшая выехала в Ольштын и нашла там работу в косметическом салоне – маски, брови и ногти, оборвав, однако, контакты с матерью.

Но когда Гизмо сделал то, что сделал, все они еще жили в Зыборке. Был двухтысячный, перелом весны и лета, конец

³⁹ Известный польский рэпер, лидер катовицкой группы Kaliber 44, входил в тридцатку лучших польских рэперов.

июня. Мы еще не были в Евросоюзе, но уже вступили в НАТО. На ТВ закончился первый сезон Big Brother ⁴⁰. У многих уже был Интернет и они слушали музыку с компактв, наигрываемых на домашних сидиромах. Все радовались, что в Рождество не наступил обещанный апокалипсис из-за компьютерной ошибки. Как раз дотлевало правительство Ежи Бузка, премьера, который в телевизоре выглядел как ухоженный вдовец-пенсионер, каких каждый день встретишь в парке.

Если бы спросить обо всем этом Гизмо, тот пожал бы плечами и ответил, что все это херня. Его не интересовал ни телевизор, ни политика, ни конец света. Интересовала его кислота. Марки. Приходы. ЛСД. Пыхал он довольно давно, но кислота стала для него открытием. Рядом с ней трава казалась привычной и скучной. Конечно, ему нравилось чувство, когда он торчал, ощущал тогда, словно кто-то берет его мозг в две теплые ладони и сжимает, выдавливая поганые мысли, которые без шмали беспомощно копились в башке у Гизмо, трепеща и шурша, словно ночные мотыльки. Но кислота – это было нечто, это было совершенно новое качество. Этот ключ открывал двери.

Отец Гизмо умер еще в апреле, и это была не яркая смерть. Нашли его неподалеку от городского пруда, на земле,

⁴⁰ Формат реалити-шоу, с которого скопировано, например, шоу «За стеклом». Название отсылает к «1984» Оруэлла и к системе тотального контроля за частной жизнью героев романа через камеры.

за живой изгородью, грязного и скрюченного. Доктора констатировали сердечный приступ. Две пачки сигарет и две бутылки вина ежедневно сделали свое дело. Говорили, старая Масловская плакала в магазине, но от радости. Позже говорили, ему повезло не дожить до того, что устроил его сынок.

Гизмо не пошел даже на похороны. Вместо этого отыскал психотропные лекарства матери. Те вставили так, что Гизмо мигом заснул и обрыгался во сне. Когда очнулся и сунул облеванную постель в стиралку, решил, что кислота лучше лекарств. Трезвая реальность была книжкой, открытой на одном и том же месте, а каждая марка переворачивала очередную ее страницу.

Гизмо закидывался кислотой вместе со своим приятелем Дятлом. Дятел знал, где ее достать. Ездил за ней в Ольштын, часть продавал, лучшие образцы придерживал для себя. Вкладывал в кляссер и держал в морозильнике. У Дятла были деньги, потому что его отец работал в Германии, клал брусчатку и отсылал бабло домой. Дятел любил Гизмо и считал, что тот, как говорится, по-хорошему ебанутый, особенно когда заторчит. Когда Гизмо торчал, все, что он видел, скручивалось в трехмерную сосульку, а то, чего не видел, становилось вдруг простым и явным, сверкало перед глазами на развешенных в воздухе огромных растяжках. Вокруг новых картинок, новых истин танцевали золотые искры, складывались в узоры. Гизмо видел в этих узорах указания, приглашения, тайны.

С нетерпением ожидал, когда узоры сплетутся в открытую дверь, сквозь которую можно будет выйти. Знал, что это вопрос времени. Что время это отмерено и известно. И когда он пройдет сквозь эту дверь, то окажется в новом мире, и хотя не знал точно, что его там ждет, был уверен, что все будет нормально. Когда ждал этого, его мозг автоматически выбрасывал через рот то, что в мозгу этом было записано. Очищался от бестолкового содержимого. Дятел сидел рядом, в то время как Гизмо, таращась в пространство, словно баран на ворота – сидя на поляне в лесу, – выплевывал из себя фрагменты комментариев ко вчерашнему матчу, к телевизионным рекламам, к заданным в школе стихам, за которые он всегда получал пары, а теперь чисто и звучно декламировал целые строфы, чтобы вдруг оборвать себя на середине и перейти к «Отчего я вижу, что тебя нет. Будь, пади на колени!»

Прежде чем Гизмо сделал то, что сделал, он кое-что увидел. По крайней мере, так он утверждал, и никто не знает, правда ли это. О том, что он увидел, говорил до самого конца. Говорил об этом, прежде чем сделал – и говорил после. Говорил, когда на его окровавленные руки надевали «браслеты», говорил, когда его допрашивали двадцать четыре часа подряд в полиции Ольштына, говорил об этом в суде и говорил в закрытом отделении психиатрической лечебницы. Порой давали ему столько лекарств, что он переставал толком произносить согласные. Но все еще пытался говорить об

этом.

Гизмо утверждал, что он увидел то самое на Картонаже.

Картонаж был закутком в лесу, расположенным в двух километрах к югу от Зыборка. Через Картонаж текла мутная, заросшая речка, по зеленой воде которой дрейфовали масляные пятна. Лес был тихим, в солнечные дни – светлым и ветреным, в темные – ядовитым, придавленным, как тяжелым одеялом, мрачным небом. Через него шла дорога, пересекавшая речку по выгнутой, сбитой из досок кладке. И неподалеку от этой кладки, в пыльных зарослях, стояли руины старой картонажной фабрики – фундамент и фрагменты стен, покрытых мхом и плющом, торчащих тут наперекор погоде, людям и войнам. Как информировала воткнутая в землю табличка, картонажную фабрику закрыли в двадцатых годах, но начала ее уходили к 942 году, как, по крайней мере, утверждала хроника путешественника Ибрагима ибн Якуба, писавшего, что пруссы, или же прутонесы, занимались тут выплавкой железа, которым потом торговали с Мазовией. После падения Тевтонского ордена металлургическое предприятие перестроили в картонажный завод, один из наибольших в Восточной Пруссии. Строение закрывали и снова открывали, перестраивали и, спалив в восемнадцатом веке, поставили снова. Картонажную фабрику полностью закрыли лишь в двадцатых годах на волне мирового кризиса.

Естественно, если бы об этом спросили Гизмо, он бы ответил, что это херня.

Картонаж был мертвым, но все еще не позволял поглотить себя земле, завалить ветру. Люди говорили, что даже когда в Зыборк захерачит русская атомная бомба, останки картонажки будут стоять, как стояли. Говорили так уже много, много лет.

Историю о тевтонцах и путешественнике Ибрагиме рассказывала установленная властями города табличка, которую Дятел и Гизмо, хотя приходили сюда постоянно, не прочли ни разу. Миновали, словно дерево. Переходили мост, усаживались чуть поодаль, у изгиба реки в траве, закидывались маркой, с пшиканьем открывали банки пива и часами смотрели в воздух, словно сидели в кино. По другую сторону воды, в зарослях, виднелись поросшие хмелем, обомшелые остатки стен картонажки.

Было весело, потому что Гизмо болтал, а Дятел смеялся. В тот день, когда Гизмо что-то увидел, они тоже ощущали веселье. Был июнь. Примерно перед праздником Божьего Тела. Несмотря на тепло, Гизмо был одет в купленную на базаре куртку с полосатой подкладкой, с большим лого фирмы «Чероки» на спине. Ходил в ней, невзирая на температуру и время года.

– Гизмо, хрена ли ты вообще написал ту психозу? – спросил Дятел.

– Какую психозу? – спросил Гизмо.

– Сука, какую психозу, психозу на Психозе, ну нахуй, – путано объяснял Дятел, а кислота потихоньку вставляла, рас-

творяла то, что было реальным, насыщала все другим цветом, который появлялся в голове только под такими спидами.

– Это не я, это ты, – сказал Гизмо.

Дятел зареготал.

– Это не я, это ты, – повторил Гизмо.

Отпил крепкого пива. Оно было теплым и выдохшимся, как он и любил.

В тот день двери и узоры не появлялись. Дятел тоже был разочарован. Они ждали уже час, а в реальности ничего не хотело изменяться, щелкать, словно бы спрятанная в ней машина отказалась работать, как старый комп.

– Сука, может выдохлась или что, – сказал Дятел, нетерпеливо вертясь.

– Ну, тогда погнали, – сказал Гизмо. Был терпеливым, словно буддийский монах. Знал, что сокровища не всегда заметны. Было бы гордыней требовать, чтобы они проявлялись каждый раз.

– Как погнали, сука, а если оно вставит через час: будешь сидеть с матерью и сблеванешь, как Квадрат.

Дятел сплюнул теплым пивом в речную воду. На ее поверхности появилось маленькое колечко.

– Квадрат блеванул после шмали, – напомнил Гизмо.

Что-то двигалось в руинах картонажки. Легонько мигнуло, прозрачное, словно след дуновения. «А может, придет и сегодня, – подумал Дятел. – Может, просто запоздало».

– Ну и нахуй, но ведь оно как: пришел на хату, заходит на кухню, а там бабка обед готовит, спрашивает его, как там в школе, внучок, а он вдруг смотрит, а бабка хуяк на морду, бьется, пена изо рта, он напугался, попытался помочь, но не понимает, что происходит, полетел к старикам за помощью, а старик...

– Мол, бабка два года уже как померла, – закончил Гизмо за Дятла историю, которую в Зыборке знали все. В куртке у него были сигареты, русские «монте-карло». Вынул одну, оторвал фильтр, закурил.

Движение в зарослях не продолжилось. «Может, зверь какой», – подумал Дятел. Но думал так едва-едва минутку.

– Сейчас смотрит, как трава растет... – Дятел хотел прокомментировать состояние Квадрата, но не закончил. Они увидели то, что увидели. Сперва нечетко. Через пару секунд – слишком отчетливо.

Тучи вдруг закрыли солнце, словно пытались защитить их от того, что они видели. Гизмо увидел все чуть позже, чем Дятел, потому что прежде чем понял, на что смотрит, Дятел уже успел подпрыгнуть, что-то дернуло им, словно ко влажной траве, на которой он сидел, кто-то приложил на миг провод под током и без изоляции.

– Чего, нахуй? – крикнул Дятел.

Потом, когда Дятла допрашивали, он клялся, что они вдвоем видели одно и то же. Полицейский, который допрашивал Дятла, пожал плечами, заявил:

– Торчали от одного, потому и видели одно.

Женщина стояла на склоне, в двух шагах от воды. Правую руку держала вытянутой в сторону под прямым углом от тела. Была одета в черное. В черное платье до земли. Платье это исчезало в земле, словно женщина вырастала из той, как растение. На голове ее был черный корнет, словно у монашки. Черной была и ее улыбка, черная и широкая улыбка беззубого рта. Черными были глазницы, черные, словно две бездонные ямы. Белой была только ее кожа. Белой, словно гипс. Что-то она держала в сжатом кулаке вытянутой руки. Словно бы мячик в сетке.

– Что, нахуй?! – снова крикнул Дятел. – Чего надо?

Так утверждал Дятел. «Я только спросил ее, чего она, нахуй, хочет», – рассказывал своим приятелям в «Презенте» в тот же вечер.

Гизмо моргал, а женщина оказывалась все ближе.

Гизмо моргал, и он все отчетливее видел, что у нее в руке.

И слышал звук, который она издавала, стоя в воде, посередине зеленоватой, маслянистой, все еще спокойной реки, словно Иисус. «Отчего я вижу, что тебя нет». Звук как хрип придавленной собаки.

Гизмо понял, что именно эта женщина развешивала перед его глазами растяжки, вязала сосульки из воздуха, рисовала знаки в тучах на еще неизвестном человечеству, золотом сверкающем алфавите. Что эта женщина его обманула. Что все приглашения, знаки и сосульки были ловушкой.

Когда женщина сняла платок, который был у нее на голове, он увидел дыры, струпья, лишай, источенные червями. Знал, что женщина сейчас заберет его сквозь двери, которые на самом деле черны и поглощают любой свет. Двери, за которыми ничего не будет нормально.

Когда он снова моргнул, женщина стояла уже перед ним, и Гизмо почувствовал запах, тот самый запах, который раньше чувствовал только раз в жизни, когда в другом месте, тоже над рекой, нашел мертвую беременную корову, раздутую от газов. Женщина была как сварена в грязной воде, с нее облезла кожа, под которой двигалась живая грязь.

В руке она держала отрезанную голову Дарьи Бурчик, так утверждал Гизмо.

Гизмо смотрел на женщину и на голову, которые были реальны, как ничто другое, и понимал, что все темное и все светлое – две стороны одной медали. А Дятел уже ничего не понимал, сколько было сил, он мчался сквозь лес в сторону Зыборка и орал, как оглашенный.

Женщина положила голову на колени Гизмо, из головы полезли черви. А потом она подала ему руку, и Гизмо пошел за ней, и не мог сказать, что было дальше.

Естественно, все знали, что было дальше. Только Гизмо ничего не помнил. Ничего, кроме женщины.

Вечером Дятел вошел в «Презент». Подошел к бару, заказал водки, начал говорить. Никто не хотел ему верить. Дятел клялся, божился, в какой-то момент даже попытался разо-

рвать на себе рубаху. Но кто поверит нарकोше, что тот видел нечто? Кто послушает вставленного? Потом Дятел уже только тихо плакал, все сильнее склоняя лицо к барной стойке. Кислота – не шмаль, после нее не видишь людей, которых нет, но кто поверит Дятлу, который закидывался и тем и другим? В «Презент» начали сходиться люди, рассказ встречал каждого из них на пороге, все глядели на Дятла косо. Дятел пил водку за водкой, но не напивался. Сидел на табурете со склоненной головой.

Потом пошел в комнату, где сидел и смотрел на привязанный к крюку под потолком пояс, забрала его только полиция.

Дятел пошел в «Презент», а Гизмо – во «Врата». Словно условились, что разделятся, чтобы побыстрее передать весть всему городу. Во «Вратах» сидела Дарья Бурчик со своим парнем, Миколаем Гловацким. Гизмо подошел к ней и рассказал все. Чувствовал себя обязанным. Знал, что поступает правильно. Но не мог этого объяснить, а во «Вратах» его никто не понял. Из «Врат» его выбросил бармен вместе с владельцем, Чокнутым. Снаружи его немного побили. Гизмо не знал, делают они это сильно или слабо. Не чувствовал ударов. Был уже за дверьми. Страницы быстро пролистывались. Книжка шла к концу.

Домой он вернулся только утром, без куртки, поцарапанный, грязный, с выбитым зубом. Его мать говорила потом, что Гизмо зашел спокойно, словно ничего не случилось. Громко включил свой Kaliber 44. Музыка взорвалась в квар-

тире, разбудив мать и дочерей. Гизмо взял нож. Ничего не сказал. Схватил младшую за волосы, притянул к себе, она не могла и двинуться. Был худым, но сильным. Мать и вторая сестра вбежали в комнату, принялись кричать. Гизмо поставил младшей нож к горлу.

– Иисусе, – сказала мать. Даже его отец не делал такого.

Гизмо молчал. Он вообще не двигался.

– Пусть меня заберут в больницу, а то я убую, – сказал вдруг. – Пусть заберут меня к психиатру.

Так потом рассказывала его мать. Не думала, что речь идет о ком-то другом.

Гизмо держал сестру сильно и жестко, не двигаясь ни на миллиметр примерно две минуты, которые тянулись, как два часа. Потом понял, что мать никуда не позвонит. Что обе они ничего не сделают. Мать сказала, что Гизмо бросил нож и выбежал из дому. Неизвестно, где он был целый день.

Потом на замковом взгорье, неподалеку от Психозы, нашли Дарью Бурчик. Мертвой. Изнасилованной, поцарапанной, покусанной, задушенной, со сломанной левой рукой, кровавой кашей вместо лица.

Якобы в тот вечер она порвала со своим парнем, сказала ему: «Не хочешь идти туда, куда все идет». Словно уже чувствовала – а может, это все люди себе выдумали.

Нашли ее около часа ночи. Приехало несколько «мигалок». Полицейские начали прочесывать ближайшую территорию.

Нашли Гизмо через десять минут. Сидел на склоне замка, трясся и тихо всхлипывал. На нем была куртка, а в окровавленных руках он держал тротуарную плитку. В тот же вечер его привезли в СИЗО. Обвинения выдвинули за двадцать четыре часа.

Гизмо постоянно, без перерыва, говорил о женщине с головой Дарьи в руке. Говорил, что хотел от нее сбежать, что пытался ее остановить.

Прокурор потребовал двадцать пять лет. Назначенный от государства адвокат только пожал плечами. Доказательства были железными. Гизмо провел в изоляторе двое суток, оттуда его отвезли в психиатрическую больницу в приступе тяжелого психоза. Прокурор начал поговаривать о том, чтобы сменить двадцать пять лет тюрьмы на пожизненную психиатрическую больницу.

На похороны Дарьи пришел весь город. Почти весь. Не было ее матери, которая тогда тоже лежала в психиатрической больнице. И не было ее парня, Миколая Гловацкого. Люди за это обижались на него до сегодняшнего дня – и не только за это.

Психолог, которая обследовала Гизмо, сперва диагностировала тяжелую параноидальную шизофрению с серьезными психотическими эпизодами, вызванными злоупотреблением лекарствами и наркотиками. Заявила, что Гизмо утратил всякий контакт с реальностью, не способен оценивать, кто он и где находится, а состояние его требует многолетней

терапии, если он вообще излечим. На вопросы об убийстве Дарьи он всякий раз утверждал, что ничего не помнит, или вообще не обращал на них внимания.

Гизмо ждал процесса в психбольнице. Если он что-то говорил, то исключительно о женщине с головой в руке.

Неделей позже он совершил самоубийство, перерезав себе вены куском стекла. До сих пор никто не понимал, как Гизмо, в смиренной рубашке, сумел это сделать.

Не было виноватого, а потому не было и ответственности. Осталась только дыра, черная и бездонная, в сердце города. Никто о ней не говорил, все знали, где она находится, обходили ее далеко по дуге.

Гизмо уже нет и никогда не будет. Нет и не будет и Дарьи. Наверняка кто-то в Ольштыне, в Варшаве, в Лондоне, а универсах, кабаках, по домам, на улицах, утром, ради шутки, смеха ради, ради ужаса рассказывает историю о наркошах над рекой, которые увидели женщину с головой девушки, и о девушке, с которой через неделю случилось именно то, что случилось. Может, теперь люди изменяют эту историю, добавляют к ней разные подробности, говорят, что Гизмо сбежал из психушки, говорят, что Дарья тоже видела ту женщину в Картонаже. Но это уже выдумки, это все неправда.

После всего этого уже никто не ходил в старую картонажку.

Дятел уехал, как и почти все остальные. Неизвестно куда. Якобы работает в Англии, на стройке.

Семья Гизмо уехала. Как и Дятел.

На могиле Дарьи кто-то положил снимок в рамке, где она стоит с Миколаем перед Психозом, держа его за руку. Надпись, накарябанная Гизмо черным спреем на темно-серой стене, виднеется за ними, черные каракули словно отклеиваются от стены, кажутся подвешенными в воздухе, режут его на резкие фрагменты, как куски разбитого стекла.

Миколай

– Надо помыть, – говорит мой отец, растаптывая что-то невидимое. Он запыхался, пытается это скрыть. Час назад мы похоронили Берната. Отец был одним из тех, кто нес гроб. Я пришел на похороны, только чтобы сходить на могилу матери.

– Ну, все не так плохо, – отвечаю я через мгновение.

– Надо помыть. На той неделе приеду, – говорит он и снова становится на колени.

Берната похоронили двумя аллеями дальше. «Слишком близко от мамы, – думаю я. – Она его никогда не любила. Всегда говорила, что хам».

Люди медленно расходятся, исчезают между могилами. Их все меньше, хотя еще минуту назад казалось, что заполнено все кладбище. Откуда-то издали еще доносится эхо судорожного короткого рыдания. «Это, наверное, жена», – думаю я. Рыдала все похороны.

– Помогу тебе тут прибраться, – говорю после долгой паузы.

Он ничего не отвечает, кивает, крестится, встает.

На самом-то деле могила мамы вовсе не грязная. На поверхности мраморной плиты, между лампадками, напало немного хвои, гнилых листьев. Плита чистая, может, самая чистая, какую я видел на всем кладбище. Слово бы

ее несколько дней полировали зубной щеткой. На ней горит с десяток поминальных лампадок, установленных ровным кругом.

– Помнишь? – спрашивает мой отец.

– Не понимаю твоего вопроса, – я не понимаю его вопроса.

– Ну, помнишь?

– Мне тогда было не пять лет.

– Я каждый день думаю, как оно было бы, – говорит он через миг. Тяжело вздыхает. Осматривается, выглядывает кого-то, может, еще надеется, что сюда доедет Гжесь. Но Гжеся нету, Гжесь спит дома.

– Наверняка новой семьи у тебя не было бы, – отвечаю я.

– Наверняка не было бы, – соглашается он.

– И что? Ты изменился бы? Если бы смог? – спрашиваю я, не пойми зачем. Вопрос выходит из меня до странного легко, как пар изо рта.

– Что это вообще, сука, за вопрос, Миколай? – говорит он возмущенно.

– Неважно.

В худшие моменты я, естественно, во всем обвинял его. Мне хотелось поехать в Зыборк, встать напротив него с камнем, спрятанным в кулаке – чтобы было тяжелее, – врезать его по морде так, чтобы у него мигом вылетела половина зубов, и крикнуть: «Это твоя вина, сучара ты ёбаная. Это из-за тебя у нее были проблемы, потому что все то говно, которое

ты в нее вливал, копилось в ее теле, словно ил!»

А потом я отгонял эту фантазию, потому что с тем же успехом мог так кричать на самого себя. Мы все трое приложились к случившемуся.

– Я знаю одно, – говорит через секунду отец. – Будь она тут со мной, сказала бы, что мне стоит все отпустить.

– А что, собственно, тебе отпускать? – спрашиваю я.

– Она сказала бы, что не хочет смотреть на толпу на моих похоронах, – говорит он через миг.

На похоронах Берната, идя в толпе, я не узнавал никого. Нервно высматривал молодого Берната, но тот не приехал – якобы отослал эсэмэску матери, что прилетит только через неделю. Не дали ему на работе отгулы, рыдала Бернат. Повторила это, кажется, с десятков раз – наверняка, чтобы повторять хоть что-то. Меня обрадовало, что я его не встречу. Не хотел встречать никого из старых знакомых. Такие встречи – хуже похорон. Страшнейшая попытка – желание отыскать того, кого ты некогда знал, в чужом лице, появляющемся из ниоткуда, а потом – рассказы о себе в простых, веселых фразах, необходимость притворяться кем-то, кем ты был десяток лет назад, исключительно чтобы установить хоть какое-то понимание. Люди исчезают из жизни других. Так должно быть. Это естественно. Мы отчего-то разбежались, и давайте теперь не изображать, что мы знаем друг друга, понимаем, живем в том же самом мире, говорим на одном языке.

Ну и конечно, мне бы пришлось, кроме всего этого, объяснить, что я тут вообще делаю. Потому что я ведь не приехал специально на похороны совершенно чужого мужика. Никто бы в это не поверил, даже такой идиот, как молодой Бернат.

Над могилой Берната держала речь губернаторша Зыборка. Я впервые видел эту тетку вживую. Напоминала обернутую бежевой тафтой куклу. Была еще искусственней, чем ее плакат; крупная и округлая, раздень ее, и наверняка взгляду откроется пенек с прицепленными конечностями и головой. Маленькие глазки непрерывно устремлялись к собственным туфлям, словно бы она чего-то стыдилась. Говорила нескладно и некрасиво, старалась представить смерть Берната, человека, который был столпом здешнего общества, как огромную потерю. Проглатывала целые фразы, глубоко вздыхала, отдельные предложения отделяла выразительным длинным «ыыыы». Казалась существом таким глупым, что потерявшимся тут и сейчас. Голос ее хрипел, но не столько из-за чувств, сколько из-за частого курения тонких сигарет, пачку которых она машинально сжимала в руке.

Пока она говорила, отец не сводил с нее взгляда. Старался заставить ее, чтобы и она взглянула ему в глаза, но та упрямо всматривалась в свои туфли. Рядом с ней стояло несколько печальных чуваков, на глазок – тридцати с небольшим, усатых, втиснутых в идеальные костюмы от «Вулчанки», с черными начищенными туфлями. Глядели на гроб с явной

обеспокоенностью, походили на детей, которые смотрят на коробку съеденных конфет. В какой-то момент один из них громко высморкался. Когда я посмотрел на отца, увидел, что он стоит неподвижно, но изо всех сил сжимает кулаки.

Потом я сбежал оттуда, пошел на могилу матери – так быстро, как только сумел. Сразу же потерялся; кладбище изменилось, хотя бы потому, что по какой-то причине тут вырубали большую часть деревьев и поставили урн; некоторое время я петлял, не в силах попасть на место, в какой-то момент просто побежал, не думая о том, обратит ли кто-то на меня внимание, потом остановился на миг, чтобы перевести дыхание, и понял, что стою у могилы Дарьи. Под простым белым крестом лежала кipa сухих цветов. Рядом громоздились пустые, треснувшие скорлупки от кладбищенских лампад. Тут давно никого не было. Может, под кучей сухих цветов, положенных еще на День поминовения – а то и раньше, – был наш снимок на Психозе, который кто-то сюда приволок. Я надеялся, что нет. Не хотел проверять. Только прикоснулся двумя пальцами к кресту, который оказался холодным, грязным, мокрым на ощупь. И я сразу же побежал дальше, поскольку почувствовал резь в желудке.

Смотрю налево. Кто-то к нам идет. Кажется, мужик, которого я видел у дома. Но тогда он носил куртку моро и резиновые сапоги, а теперь он идет к нам, одетый в скучный черный плащ.

– Брачак, – говорит мой отец.

– Томек, – отвечает мужик громко, издали.

– Это лесничий, – объясняет отец.

– А Гжесь где? – пожатие руки Брачака сильное и крепкое. Он сам – низкий и квадратный, улыбчивый, загорелый, редкие короткие волосы у него выются. С виду он слегка напоминает итальянца или грека.

– Не знаю, – мой отец пожимает плечами.

– Гжесь спит, – отвечаю я. – Еще спит.

Тот вернулся из города утром, совершенно пьяный. Я видел, как он вылезает из машины и едва идет в сторону калитки, а потом к дверям своего дома. Сам я сидел на ступенях лестницы во двор. Пил дешевое пиво из «Бедронки»⁴¹, которое нашел в подвале в промышленном количестве. Хотел позвать его, но предпочел никого не будить.

– Ну и как, увидимся? – спрашивает Брачак.

– Увидимся, но я утром еду на территорию, в Пепельный Сад, узнаю, как оно там, – говорит мой отец.

– Нам бы всем стоило встретиться, – отвечает Брачак.

– Будут и следующие, – говорит отец, глядя перед собой и качая головой.

Брачак хочет что-то сказать, но не говорит ничего, только хлопает отца по плечу. Тот вздрагивает.

– Лучше всего у меня, в сторожке. Аккуратно, – говорит Брачак. – Все обговорим. Подписи уже ведь собраны, взнос в гмину сделан. Все закрутилось.

⁴¹ Сеть продовольственных магазинов низкой ценовой категории.

– Будут и следующие. Они этого не допустят, – повторяет отец как заклинание.

Отец даже не смотрит на Брачака, глядит куда-то вдаль, за могилу мамы. Лесничий стоит и всматривается в его профиль, словно пытается заставить отца, чтобы тот, наконец, развернулся в его сторону.

– Ты уверен, что это работа Кальта? А не как с Мацюсем? Русские? Цыгане? – спрашивает Брачак.

– Русские, цыгане, волки и инопланетяне, – отвечает мой отец.

Брачак молчит.

– То, что имеешь, за так не отдаешь, – добавляет отец.

– Мы не сдадим назад, Томек, ну, сука. Спокойно, – отвечает Брачак.

Этот разговор звучит, словно с трудом выученные реплики из плохенького фильма. Теперь отец ничего не говорит, а Брачак снова похлопывает его по плечу и показывает пальцем в сторону выхода из кладбища.

– Он хочет остаться тут один. Пошли, Томек. Пошли к машине, поговорим, – говорит, словно прочтя нечто в моем взгляде.

Отец сдвигается с места только через минуту.

– Я скоро приду, – говорю ему, но он не отвечает.

Я остаюсь сам. Я и могила мамы. Мне тяжело. Это непростой визит. Не признаю разговоров с могилами. Не верю, что там есть почтовые ящики, тайными каналами переносящие

весточки в другое измерение, которое напоминает роскошный дом престарелых, где умершие сидят на кожаных диванах, попивают мартини и слушают выступления Фрэнка Синатры и Мечика Фогга ⁴². Мама, прости, я правда в этом не силен. Когда люди говорят с собой – они безумцы. Вот так. Я и вообще, если честно, не признаю гробов. Людей нужно хоронить прямо в земле, чтобы питать деревья и червей. Большинство из них только тогда хоть для чего-то пригодится.

Умей я говорить с могилами, наверняка сказал бы что-то такое: это наша общая вина, мама. А когда ты умерла, я был еще хуже, и может и хорошо, что ты этого не увидела.

Может, я тебе расскажу, но тихо, мысленно. Может, каким-то чудом эти весточки все же доходят до адресата.

Расскажу тебе, как у меня начались проблемы. После выхода книги и ее быстрого, серьезного успеха я снял большую квартиру в Средместье, которую все приходившие называли Мордором, где непрерывно крутились люди и продолжался бесконечный праздник, насыщаемый моими деньгами. Сейчас Мордором называют квартал офисных высоток на Вилянуде. Но когда-то так называли мою квартиру. Вокруг все пили и закидывались, я не знал и половины этих людей, мама. Вокруг их было полно. В том числе и тех, кто в начале учебы относился ко мне свысока и презрительно. Девушек, которые мне нравились, но, встреченные в «Авроре»

⁴² Мечислав «Фогг» Фогель (1901–1990), польский эстрадный певец, продолжал давать концерты почти до своей смерти.

или в «Философской столовке», не отвечали на мои приветствия, я, после выхода книжки, обнаруживал утром рядом с собой, на моем матрасе. Думал я мало, потому что, на самом-то деле, и хотел думать мало. Я смотрел телевизор, пил, закидывался, закидывался, пил, реанимировал себя конденсированным молоком из тубиков, замороженной пиццей и плавлеными сырками.

Папа написал эсэмэску, что я могу не приезжать домой. Я и не приезжал несколько лет. Но мне это не мешало. Я жил с ощущением, что сделал все, чего хотел. Мне было двадцать два, а жизнь моя уже гремела, обрела романную логику, что-то вроде смысла. Я радовался, это случилось так быстро. Считал, что мне повезло. Книжку переделали в фильм. Это чуть продлило жизнь всему этому бардаку. В Зыборк продолжали ехать журналисты, искали ксендзов-педофилов, нацистов, разрушенных еврейских могил, компрометировали людей, лезли им в жизнь и в дома. Вытаскивали на белый свет почти все, что там происходило, и раздували это до общепольских масштабов. Какое-то время спустя в Зыборке даже случилась облава на банду грабителей автомобилей, и эта облава была в полный рост: со снайперами на крышах и с засадами ЦСБ. Во время облавы застрелили двух полицейских и какую-то невинную тетку, которая как раз шла в магазин. И, кажется, именно тогда люди в Польше устали от Зыборка, сказали себе: сколько можно говорить об одном и том же городе. Наверное, хорошо, что тогда не было мемов, а

не то Зыборк навечно остался бы с нами, как Квасневский ⁴³.

Я сжег этот город – перед всей Польшей. Зачем, могла бы ты спросить. Естественно, чтобы отомстить. За тебя, за Дарью, за себя самого. За всех добрых людей. И потому, что это было действительно хорошее развлечение. Не писать, но следить за всем по телевизору, читать обо всем в газетах.

Потом все пошло хуже, мама, я даже перестал понимать, который сейчас час, просто засыпал и просыпался, не понимал даже – когда, сварил свой телефон в кастрюльке, однажды не ел неделю, ел вообще мало, похудел на тридцать кило, а знаешь же, я никогда не был толстяком, мама, спал с двумя-тремя девушками за раз и даже не знаю, вставлял ли им что: мы просто лежали в постели, иной раз лежали там и какие-то приятели; надеюсь, что я не вставлял и им, но тоже не помню. Я часто ходил в кабаки. Кричал там: «Все поют с нами!». Бывали дни, когда банкомат ничего не выплевывал. Потом выплевывал что-то снова. А все – сто тысяч экземпляров, плюс права на экранизацию, плюс заграничные издания, плюс что-то там еще. Если бы я хотел, мог бы стать хорошим и известным писателем. Не хотел. Хотел, наверное, умереть. Умереть – или чего-то подобного.

И, как обычно, мир исполнил мое пожелание, потому что однажды кто-то притащил в Мордор кое-что. Маленькое и интересное. Оно помещалось в руке. Это был комплект.

⁴³ Львиная доля мемов с бывшим польским президентом А. Квасневским обыватели тему его любви к спиртным напиткам.

Фольга, ложечка, трубка, зажигалка, немного порошка. «Что это?» – спросил я этого неизвестного. Даже не помню, как он выглядел, как его звали. Помню только, что он ответил, мама. Сказал: не бойся. Сказал: все будет хорошо. Сказал: это лучшая, сука, штука, какую придумали.

Он был прав.

Я без подробностей. Может, в другой раз. Скажу только: тебе было бы ужасно стыдно. Ты наверняка перестала бы меня любить. Люди говорят, что существует безусловная любовь, но я в это не верю, это неправда. Будь ты жива, то разлюбила бы меня.

Деньги испарились, мама, хотя ты говорила мне, что за деньгами нужно следить точно так же, как за приближающимися машинами на переходе, и говорила мне беречь каждую банкноту.

Деньги испарились, мама, и я испарился тоже.

Конденсировался я снова, когда появилась Юстина.

– Все? – спрашивает отец. Стоит в нескольких метрах от меня. На горизонте уже нет жены Берната, не слышны ее всхлипы.

Но это уже совершенно другая история, мама. Продолжение следует. Если тебе это интересно. Наверняка тебе стыдно.

Там, где ты находишься, на сцене как раз выступает Виолетта Виллас ⁴⁴, причем – в лучшей своей версии, когда

⁴⁴ Польская певица и актриса, певшая, кроме прочего, дуэтом с Фрэнком Си-

она была и правда клевой телочкой, кельнер разносит напитки, а я морочу тебе голову всей этой грязью. О Юстине расскажу в следующий раз. Это тебе понравится больше всего. Это единственная осмысленная вещь, которая со мной случилась. Единственная осмысленная вещь, какая у меня есть.

– Все, – отвечаю я, разворачиваюсь и иду в сторону отца.

Юстина

Деревья, связанные друг с другом желтыми полосами полицейской ленты, создают эдакое кольцо, в нескольких местах разорванное – может людьми, может животными.

Мы стоим вдвоем, курим на ковре из разноцветных листьев. Лес тут смешанный, частично зеленый, потому что ели и сосны в этом году стоят в иглах. Мы стоим близко, хотя достаточно далеко, чтобы казаться случайными грибниками, идущими по лесу. Агата даже банку взяла из дому. Теперь держит ее в руке, не пойми зачем, стряхивает внутрь пепел. Я стряхиваю на землю. Агата делает вид, что этого не видит. Мне нужно привыкнуть к лесу. К тому, что куда бы я ни пошла, он всего в трех шагах.

«Тут и не такие вещи случались», – сказал в больнице отец Миколая.

Любопытство, о каких таких вещах он говорит, – сильнее меня.

Мы тут не одни, на противоположном берегу стоит Рудзьяк, сосед. Грызет ногти и сплевывает на землю. Его приятель держит в руках металлоискатель и спокойно попивает пиво из банки. Это Рудзьяк нас сюда привел, и это Рудзьяк сказал, чтобы мы не стояли вместе, поскольку, если будем в большой группе, нас могут разогнать.

Мужик в белом комбинезоне и в маске топчет маленьки-

ми шажками по кругу, наклоняется над землей и разводит пальцами траву. Второй, в полицейском мундире, стоит рядом, держит на поводке немецкую овчарку. Они ищут улики. Откуда мог приползти Бернет? Прошли на километр дальше того места, где его нашли, а потом зависли на мертвой точке. И остаются в этой мертвой точке с утра.

Недалеко, на лесной дороге, стоят две полицейские машины и черный «ланос» без опознавательных знаков с выключенной мигалкой. Из машины как раз выходит одетый в гражданское мужик. Он крепкий, докрасна загоревший, такое впечатление, что едва-едва прибыл из Египта. По выражению его лица может показаться, что у него болит голова. Он потягивается, зеваает, закуривает и принимается смотреть в нашу сторону.

– Пойдем, – говорит Агата. Мы обходим их по кругу, идем пару десятков метров по лесу, чтобы выйти с другой стороны ленточного кольца. Останавливаемся неподалеку от Рудзяка, он хмыкает, трет усы, подмигивает заговорщицки, хотя, возможно, это просто алкогольный тик.

Мужик в комбинезоне все еще сидит на корточках. Кажется отчаявшимся.

– Можно еще раз пустить собак, – говорит полицейский. Это первая фраза, которую кто-то произносит за десяток последних минут. Голос гудит как колокол.

– Можно, но – без толку, – отвечает мужик в комбинезоне.

– Толк всегда есть, – говорит полицейский.

– Да ну, сука, он как с неба сюда свалился, – отвечает мужик.

– Может он шел, а только потом упал? – предполагает полицейский.

– Собаки бы узнали. Следов нет, – говорит мужик в белом комбинезоне.

Снова склоняется над землей. Сейчас светло, полицейский и мужик в комбинезоне снова переходят в молчащий режим, по лесу разносятся одиночные чирикания птиц.

– Что с этим местом? – спрашиваю у Агаты.

– Все еще исследуют на ДНК, – отвечает она.

Зыборк знает о расследовании все. Достаточно и одного уставшего патрульного, пришедшего с работы, на которой он услышал что-то от своего начальника, и хватит того, что он промычит об этом своей жене, пока ест бутерброды на ужин. Жена потом выходит наружу, встречает соседку, рассказывает ей. И все. Зыборк уже знает. Так говорит Агата.

Только при журналистах все обо всем забывают.

– Это город преступников, тут никто не болтает почему зря. При коммуне – не знаю, не помню, но якобы тогда никто ни одной бумаги не подписывал, – говорит Агата.

– Преступники? – спрашиваю я.

– Контрабандисты. Еще до войны. Но в этом Томек разбирается. В истории.

Этот, в гражданском, идет в сторону Рудзяка, становится рядом, а Рудзяк с приятелем, перепуганные, делают несколь-

ко шагов в сторону. Но мужик машет рукой, чтобы не боялись, показывает приятелю Рудзяка, чтобы тот дал ему пива. Приятель Рудзяка неуверенно протягивает ему банку. Мужик делает глоток, миг-другой держит напиток во рту, на его лице появляется нечто вроде облегчения.

– Но теперь-то укрывают убийцу, – говорю я Агате.

– Никого не укрывают. Просто лучше не говорить. Так думают все.

– Боятся?

– Только твой тесть не боится.

Мужик в белом комбинезоне делает несколько шагов вперед. Похоже, он рассержен. Не смотрит под ноги, в гробу видал возможность затоптать незамеченные следы. Выглядит так, словно вышел из дома после тяжелой ссоры.

– Но, гляди, – говорю я ей. – Если уж он кого-то, не знаю, покусал, в любом случае, на зубах не его плоть...

– Ну, непонятно: на зубах было мясо, а на его теле не было настолько глубоких ран, так говорила Добочинская. Из госпиталя, директорша, – добавляет Агата за миг, когда видит, что я, как обычно, когда она называет какую-то фамилию, не знаю, о ком речь.

– Я имею в виду, что наверняка похитили кого-то еще, – говорю я. – Например, тот Мацюсь. Он ведь пропал. Я видела объявление.

– Да ладно тебе. Скорее, это Мацюсь его убил, Берната, в смысле. Кто бы там Мацюса похищал, – она пожимает пле-

чами.

– Они похищали людей? Эти грабители машин? Такое уже случилось?

– Не знаю, Юстина, я не знаю всего, как твой тесть.

– Не говори со мной как с журналистом.

– А кто ж ты? – спрашивает Агата.

Я перестаю, поскольку вижу, что ее это раздражает. Уже не думает о том, что видит. Ей уже нужно что-то сделать. Не знаю что – обед или стирку. В любом случае, думает она уже только об этом. Я смотрю на нее и думаю, что именно для нее – личное дело, а что Агата делает ради удовольствия. Чему может улыбаться эта женщина, когда встает засветло с постели? Какая мысль позволяет ей пережить день? У нее черно под глазами, у нее потрескавшаяся кожа на щеках. Длинные прямые волосы цвета соломы, которые она не красила никогда в жизни, опадают ей на спину; выглядят так, словно она сама подрезала кончики. Она не накрашена. У нее неухоженные ногти без маникюра. Ноль украшений, только едва видимые следы проколов в ушах. Сильные руки, как старое, твердое дерево. Кожа на руках как пемза. Великоватая военная куртка с огромными карманами, в которых она прятала мерзавчики, маленькие разноцветные бутылочки.

Может, чтобы познакомиться, нам нужно прогуляться, сходить на кофе, в парикмахерскую, а не смотреть на сцены убийства?

– Пойдем, нужно обед готовить, – говорит Агата. – А еще

в магазин надо заехать.

Я киваю. Мужик в белом комбинезоне уже исчез, и теперь все, включая полицейских, Рудзяка и его приятеля, выглядят совершенно растерянными.

– Им бы обо всем этом с Ведьмаком поговорить, – замечает она, кивком указывая на полицейских, желтую ленту, эту замедленную, остановившуюся, ни к чему не обязывающую картинку.

– С Ведьмаком? – я рефлекторно фыркаю. Ведьмак. Какие еще псевдонимы тут придумывают людям?

– Такой человек. Немного странный. Другой. Живет километра за два-три отсюда. В лесу. В доме без электричества. Знает обо всем, что тут происходит.

– Так отчего ты им не скажешь? – спрашиваю я, а она только пожимает плечами.

– А что, мне полиции говорить, что они должны делать? И что они сделают? Схватят кого? Арестуют? Ну, скажи. Кого-то накажут? Полиция? – отвечает раздраженно.

Что-то растет во мне. Как резкое желание закурить, что внезапно взрывается в желудке после пары месяцев отказа от сигарет, когда уже думаешь, что все устаканилось. Это опасное чувство. В лучшем случае из него возникают статьи и книги, в худшем – человек остается с серьезными ранами, с черепом, треснувшим от внезапного удара о стену.

Агата вдруг поворачивается в сторону, куда побежал мужик в белом комбинезоне. Кусты там резко шевелятся.

– Здесь! – кричит мужик в белом комбинезоне.

Мы снова идем по кругу, Агата двигается ловко и быстро, могла бы делать это даже ночью, а я знаю, что иногда она так и делает ночью, слышу, как выходит, пытаюсь никого не разбудить.

Мы останавливаемся у кустов, неподалеку видим их, а они нас – нет: мужик в белом комбинезоне и двое вдруг ожившихся полицейских. Мужик в белом комбинезоне что-то поднимает с земли, прячет в пластиковый пакет. Я шурюсь, изо всех сил пытаюсь понять, что оно такое.

– Нож, – говорит Агата, шепотом отвечая на вопрос, который я мысленно задала.

Нож-бабочка, блестящий на солнце, как внезапный подарок. Все всматриваются в него, словно он – нечто исключительно ценное, как гостия.

– Кровь, – заявляет мужик в белом комбинезоне.

– Гони их всех, – говорит один полицейский другому.

– Пойдем, – отзывается Агата.

Мы быстро идем по лесу, пытаюсь двигаться как можно тише, я не успеваю за ней, спотыкаюсь обо что-то, торчащее из земли, но в последний миг восстанавливаю равновесие.

– И что ты обо всем этом думаешь? – спрашиваю я, но Агата все еще ничего не говорит, выходит из лесу, пересекает Известковую и идет в сторону главной улицы, к магазину. Там я ее догоняю. Она останавливается, смотрит на меня.

– Думаю, что у меня дома двое голодных детей, – на миг

вскидывает руки, чтобы сразу уронить их вдоль тела. – Я правда не хочу в этом копать. Я могу помочь жене Берната, сделать для нее покупки, заставить ее умыться, потому что она может не мыться дни напролет. Пойти ко второй и сказать, чтобы перестала рыдать, чтобы что-то сделала.

«Слишком светло», – думаю я. Светло и холодно, асфальт блестит, в углублениях собралась вода вчерашнего дождя, а вдоль асфальта стоят дома, как шкатулки тайн и проклятий.

Может, весь мир – из таких шкатулок. Может, Зыборк повторяется, реплицируется в бесконечность. За поворотом – следующий, а потом еще один, и так без конца.

– Ты идешь со мной в магазин или возвращаешься домой? – спрашивает Агата.

– Такие вещи не делаются сами собой. Я годами работала в газете, Агата, я слышала о таких делах, – говорю я.

– Каких делах? – спрашивает она.

– Об убийствах. Мести. Кто-то мухлевал с единым налогом и подставил своего друга, который пошел в тюрьму, – и его нашли повешенным. Кто-то начал шантажировать местного царька, что сдаст его налоговой, и вдруг его вылавливают из реки, и, типа, это несчастный случай. Это случается. Таких дел – десятки. – Я закуриваю. Может, Агата прекрасно об этом знает. Может, думает, что с этим ничего нельзя сделать, как с погодой.

– Ты удивляешься, что нас это не удивляет, – говорит она и идет в сторону магазина, что находится на первом этаже

типового дома с плоской крышей и пастельным фасадом.

– Я удивляюсь, что ты не боишься, – отзываюсь я.

– А что ты хочешь сделать? Что бы ты хотела сделать?

– Идти в полицию?

Она останавливается на половине дороги. Показывает мне пальцем на лес:

– Так иди, Юстина, полиция стоит там.

Она, ее муж и все эти люди ведут себя так, словно пережили какую-то неизвестную войну. У них глаза подпухли от тайн, ладони затвердели от рукопожатий. Реагируют на смерть так, будто они ходят на похороны каждый день.

– С Томашем все будет в порядке, – говорит Агата. – Если ты об этом. Ничего с ним не случится.

Думаю, что жена Берната тоже так считала. Но не говорю этого вслух.

Под магазином стоят еще двое усачей с красными лицами, выглядящих, словно клоны Рудзяка. При виде Агаты кивают и чуть приподнимают банки теплого пива.

Жжение внутри все сильнее, а мне все сложнее его выдержать, и я чувствую, как по спине ползут мурашки, сверху вниз, я начинаю чесаться, глядя, как Агата читает список покупок толстой девушке с крашенными в кроваво-красное волосами.

Это жуткое чувство. Оно как сейсмограф, как счетчик Гейгера. Я как та девушка, которая своим правым локтем чувствовала все землетрясения на свете.

Под Зыборком, под кубиками домов, дырявым асфальтом, стволами деревьев, что еще недавно росли вдоль шоссе, под грязной поверхностью реки и фундаментом замка есть нечто. Это нечто – прогнило, оно пахнет газом. Не дышит, но все еще живет.

Такое жжение в желудке в последний раз я чувствовала, когда познакомилась с Кириллом, худым и красивым Кириллом с наколотыми руками, который рассказывал мне о Клубе Винни Пуха.

Чтобы заняться хоть чем-то, я начинаю просматривать газеты. На стойке есть открытки для подростков, наклейки с покемонами, один унылый номер газеты с голыми бабами, кроссворды, никаких еженедельников или журналов. Но вот же, между «Курьером Зыборским» и магазинной газеткой с объявлениями, лежит единственный номер «Газеты Крайовой». Беру ее в руки. Сейчас-сейчас.

Слышу, как у Агаты звонит телефон, но не обращаю внимания, потому что жжение в желудке вдруг превращается в ледяной холод, который заливаает меня от головы до ног.

Траханый сукин сын.

– Алло? – говорит где-то Агата и через секунду добавляет: – Ох, Иисус Мария!

Порой случается так, что ты вдруг о чем-то думаешь, какая-то мысль словно нож втыкается в гладь разума, приходит из ниоткуда и не является никакой ассоциацией ни с чем, просто вдруг взрывается фейерверк, и – что страшнее всего

– эта мысль через миг материализуется, это всегда как само-реализуемое предсказание, верное гадание.

Порой мысль эта обгоняет то, что она предвещает, буквально на доли секунды, а потому непросто по-настоящему отделить ее от своей реакции. Но это можно сделать. Это можно сделать, если ты внимательно вглядываешься в то, что ты думаешь.

– Пойдем, Юстина, пойдем, – говорит Агата и хлопает меня по плечу.

– погоди, – отвечаю я. – погоди секунду.

На первой странице заголовок: «Ад Клуба Винни пуха. Страница двадцать третья. Только у нас».

Четыре страницы мелким шрифтом. Картинка с мишкой с вырванными глазами, из глазниц льется черная кровь. «Мы предлагаем первую публикацию из цикла потрясающих репортажей, что касаются педофильского подполья в Польше. Автор: Артур Колярек».

Не знаю, кто такой Артур Колярек, но он написал мою статью. Из моих материалов. Тех, что были у Него. Которые получил на хранение и не должен был никому показывать.

– Пойдем, давай уже. Пойдем, я должна приготовить обед, – говорит Агата.

– Год моей работы, – говорю я громко сама себе, глядя в газету. Холод пронизывает мое тело, сейчас он потечет у меня из глаз. Нет ничего хуже, ничего унижительней, чем публично расплакаться.

– Пакет возьмите, – говорит девушка с крашеными в красное волосами, не пойми, мне или Агате.

Миколай

Транспортный «пежо» подпрыгивает на дырах в асфальте, что занимают больше поверхности, чем сама дорога; собственно, она – вся одна большая неровная дыра с маленькими, неравномерными фрагментами плоскостей. Юстина беспокоится насчет подвесок, но отец отмахивается. Естественно, ответственны за состояние дороги люди бургомистра. Делают все быстро и зло, по пьяни и на отлюбись, заливают дыры горячим раствором, а тот крошится при первом же морозе. Всякий раз, когда машина подпрыгивает, мою перебинтованную голову прошивает длинная тонкая игла. Эта боль немного похожа на звук. Юстина не поворачивается в мою сторону.

За окном проклевывается рассвет. Он туманен, весь в патине, уже не взрывается, а медленно просачивается в небо, словно кто-то вводит шприцом красноту в черноту. Этот рассвет – не обещает солнца. По радио яростные бредни двух политиков, что-то насчет внезапного обострения международной ситуации. Мой отец, послушав, приглушает звук.

– Они так плюются, когда говорят, что мне, когда слушаю, лицо приходится вытирать, – говорит он.

Я сижу посредине на двухместном пассажирском сиденье, глядя между отцом, который ведет, и Юстиной, которая смотрит в окно, ничего не говоря и куря сигарету. Отец позволил ей курить, потому что, как говорит, у него есть элементарное чувство справедливости. Ольчак и Одыс, работники отца, каждый день ездят в этой машине и тоже в ней курят.

– Когда дымят, то хотя бы на миг пасти затыкают, – говорит отец.

Сейчас пять утра, в салоне пахнет бензином, испорченной едой и свежим хлебом; этот последний запах – такой всеобщий, что кажется искусственным, словно мы везем сзади не несколько десятков лотков с булками, а канистры концентрированного запаха для распыления в гипермаркетах.

– В какое село сначала? – спрашиваю отца.

– Туда, где можно увидеть, что тут на самом деле происходит, – отвечает он.

– То есть – куда? – спрашивает Юстина.

– Сначала в Пустынь. А потом в Пепельный Сад.

Эти названия едва ли что-то мне говорят, я знаю, что они существуют, я слышал о них – но и все.

– Ты поднял нас в такую рань, что я сперва подумал, будто мы едем на рыбалку, – говорю лишь для того, чтобы не молчать.

– Вы для рыбалки не подходите. Не умеете сидеть тихо, – отрезает отец.

– Я ничего не говорю, – отзывается Юстина.

– Зато вертишься, – отвечает он.

Мы едем туда, куда едем, потому что отец развозит хлеб. Ежедневно утром в половину магазинов в Зыборке, а потом – по всем окрестным селам. Он мог бы этого и не делать, но не доверяет никому. Без него тут никто ничего нормально не сделает, говорит он. Нанял трех пекарей, а еще Ольчака и Одыса, которые в пекарне выполняют все, кроме печения, – убирают, возят, грузят на лотки, разгружают.

Отец развозит хлеб и тем, кто не может купить еду. Его хлеб обычный, ни хороший ни плохой. Обычный. Как и булочки: познаньские, с «жопкой», нам давали такие на большой перемене в средней школе с гомогенизированным творогом и стаканом какао.

Когда мы доезжаем до села, уже светает. Отец останавливает машину на обочине. Село протянулось вдоль дороги, это десяток домов, некоторые старые, из красного кирпича, еще довоенные, другие выстроены после войны, плоские и запущенные.

Мы останавливаемся перед магазином, серо-бурым домиком, словно слепленным из глины и пыли. Цветная металлическая табличка просто объявляет: «МАГАЗИН». На стене – доска объявлений, на ней – информация о диско-концерте группы «Анекс», объявление: «Не подписывай дого-

вора, потеряешь право на возмещение, контакт», еще объявление: «Не у кого занять, кончились возможности, кредит с хорошим процентом, без документов, телефон», поблекший желтый плакат, рекламирующий близящийся фестиваль «Праздник Колоса», некролог чувака, которого звали Эдмундом Магерой, прожил 85 лет. Дверь в магазин преграждает ржавая решетка.

Отец отодвигает щеколду, некоторое время смотрит на лотки с хлебом, смотрит на дорогу, и тогда, словно по его желанию, появляется едущая машина, постукивающий серо-грязный «гольф». Отец глядит на него некоторое время, потом подходит к решетке и начинает ее трясти, скоба металлической защелки постукивает о ржавые прутья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.